

АНРИ ГИЛЬБО.
ВЛАД. СОСЮРА.

КАРЛ ЛИБКНЕХТ.

В людном зале, скованном в одно,
Держит речь торжественную канцлер
О войне объявленной, о том,
Что нужны кредиты. Молча
Встали депутаты. За войну
Голосовали все.

И этот! Острый взгляд и лоб упрямый,
Чьи силы все—в служении угнетенным.
Он поправляет нервною рукой пенсне, сидящее
неровно.

Да, за кредиты он голосовал. Голосовал
И этот.

Оставив зал, забыв друзей,
Идет, шагает вдоль канала,
Рассеянно он смотрит на суда,
Покачивающиеся на причалах, на домов
Геометрические, ровные ряды, на пятна
Людей подвижных, на шоссе.
Так он идет, шагает ныне.
Ах, за кредиты он голосовал
Лишь подчиняясь дисциплине.

Шуршит песок в часах времен,
Течет песок, струясь кровью,
Над всем простерлись меч и пламя,
Все туже бедствий круг над нами,
И лгут газеты все о том же. Мы
Париж к восстанию поднимем из Берлина,
А приговор подпишет Либкнехту
Париж.

„Но что я сделал, сын
Вильгельма Либкнехта, я, враг войны,

Я, враг Крезо и Круппа, интернационалист
И обличитель мировых разбоев“...
И дальше,—вдоль домовых линий...
Да! за кредиты он голосовал
Лишь подчиняясь дисциплине.

И вот несут друг другу смерть
Казачи, сербы, англичане,
Улан, бельгиец и француз;
Земля в крови, горят дома,
Над миром плач, железом рвется мясо;
Шуршат автомобили; обжираясь
Лежат у ног прославленных актрис
Министры, дипломаты, журналисты.

В теченье мыслей вздрогнул он внезапно.
Стал гневен взор,—и лоб—какая воля!
Долой правительство!
Война войне! Долой
Железный строй! Да здравствует
Союз труда!
И силу всю свою собрав, воспрянул вновь
Отца Вильгельма сын достойный,—Карл
Поэт восстания.

Война войне, восстание, забастовка,
Так выше голову, и взор острей!
Друзьями оклеветан.—Пусть!
Один быть может—все ж упорен!
Революционный так создан идеал,
И как причастие, он осквернил порядок.

Он говорит толпе, он весть несет народу;
Вторично канцлер требует кредитов и доверья,
Но отвечает он без страха—„Голос мой
Вам не отдам!“
И вот осмеян,
Обычными обидами запятнан, и друзьями
Он назван дураком, безумцем, анархистом.

Но все же скал упорнее и тверже
Карл Либкнехт, сын Вильгельма, устоял
Губительному зову дикой бури.
Война войне, восстание, забастовка;—
Он говорит подчеркивая, неустанно,
Сверкает над народами призыв,

Вливает мужество и воскрешает веру,
И будущее зеленеет вновь,
Украшенное золотом цветов.

И вот когда казенной формой
Свободному стеснили тело,—
Война войне!—все так же стоек он.
Пусть заточен, пусть судят, пусть грозят,—
Война войне!—и лозунг революций
Выкрикивает сын Вильгельма
Карл.

Наперекор военной грубости,
Стальному гнету,
Тяжелой силе митральез,—
На героический призыв со всех сторон
звучит ответ,
И вот уж радостных надежд
Все крепче светлые побег.

Либкнехт солдат и безумец, Либкнехт башмачник,
Приветствуем тебя и обнимаем;
Ты—как магнит, привлек все мужественные силы,
Ты—сочетал всю чистую и живительную мощь,
Ты—снова сомкнул цепи народов,
Ты—сорвал с нас цепи господ,
Ты—разрушил цепи изменников,
Ты—глупостью увенчан пурпуром,
Но пурпур, о Либкнехт, тебя изменил, славой
навек увенчав.

Имя твое
И славу возвестят народы;
Да будут далеки от тебя лакеи, эстеты, трусы,
Недостойные повторять слог
Имени твоего, товарищ Либкнехт.
Доблестен был ты и смел;
Слава тебе безупречный герой революции.

Анри Гильбо.

ЧЕТЫРЕ ГОДА

Отрывки из поэмы.

Разве я не могу творить
и писать стихи по-русски?
Красные кони зари
в моих глазах индусских...

Ты когда то сказала: „Нет!“,
ты теперь командир эскадрона,—
мне ж стрелою татарской звенеть
в эти дни, когда дрогнули троны...

Наши порывы в ночь—
целоваться со сном синеблужным...
Эти звезды, что смотрят в окно—
декабря звенящие бусы...

I.

В тихом городе под хрустенье снега
заметает ветер следы...
Расплескалась заря, цепenea...
В тихом городе—я и ты.

На твоих ресницах месяц,
точно в люльке ребенок спит...
Нам в пожарах восстаний вместе
Радость Грядущего пить...

В тихом городе под хрустенье снега
заметает ветер следы...
Расплакалась заря, цепenea...
В тихом городе я и ты.

II.

Броневи́к притаившись ждет...
правый фланг под огнем канонады...
Сердце злобное пьяно и радо...
Вперед, вперед!

Ты с винтовкой со мною рядом,
но не вижу в огне тебя...
Точно синей грозой снаряды
звонким градом поют по цепям...

Твои теплые, серые очи
вспоминают, что было когда то...
Над забытым поселком рабочим
золотые челны заката...

III.

Не весна над родным Донцом,
не лазурный дым над заводом—
бьет с размаха ветер в лицо
голубым крылом непогоды...

IV.

.....

V.

Просевает сквозь сито вечер
золотую звездную рожь...
От меня ты теперь далече...
Ну так что ж.

На одном костре мы надежды
обожгли под знаменный всплеск...
В моих думах со мной ты, как прежде,
синим звоном февральских полей...

VI.

Свежий дух голубого поля,
то не ты ли пошла вдоль межи,—
нет, то с тихой улыбкой на воле
месяц в травах лучами шуршит...

Потянуло снова в город
от сырой, от весенней земли...
Каждый вечер впиваюсь взором
я в его заревающий лик...

VII.

Разве можно теперь не петь,
если радость дождем на заводе,
если радость в каждой избе
на окошках узоры выводит...
Разве можно теперь молчать,
если в каждом сердце солнце...
С криком радости в серых очах
кто то встретит меня за околицей...

VIII.

С звонким стуком копыт под окном
пробежал синим всадником вечер...
Я на кепи курсанта давно
променял твои губы и плечи.

IX.

То не матери плач над сыном,
не голодных детишек стоны,—
впередгонку с ветром синим
по степи пробегают звоны...

Под ногою шуршит камыш...
Мы на фронте с тобою снова.
Серебристые косы зимы
заревой просочили кровью...

И так ярко звездочка светит
над любимым узким лбом...
Не одни мы с тобой на свете
обагрили сердца борьбой.

Утомленные смуглые лица,
но у каждого сердце-костер.
Проккололо твои ресницы
золотое луны копье...

X.

Не пожары вдали озаряли
на знаменах засохшую кровь,—
на озерах былой печали
мы свою схоронили любовь...

Ах, нависли, нависли тучи,
точно гривы вражьих коней...
Нам, сквозь ветер веков идущим,
целовать только крылья огней.

И со звоном бегут эшелоны,
точно моря встревоженный гул...
Отбивает кому то поклоны
старушонка-заря на снегу...

XI.

Каждый день мне поет о Зине,
под землей голубая кирка...
Мне ль, чьи руки в крови и глине,
затуманит очи тоска.

Все мне снятся бои в забое
под немолкнувший бремсберга шум...
И как будто опять с тобою
я в цепи под Полтавой лежу...

То как будто мы снова над морем,
где, дрожа, в городском саду,
осыпались осенние зори
лепестками на нас из за туч...

Ах, нависли, нависли тучи,
точно гривы вражьих коней...
Нам, сквозь ветер веков идущим,
целовать только груди огней...

XII.

Синий снег... и кругом ни души...
В тихом городе нас только двое.
Отчего ж, отчего же скажи
мне так грустно сейчас с тобою...

Будут снова звенеть трамваи,
будут люди идти, как прежде,
но не встречу тебя никогда я,
как не сбыться моей надежде...

Над станком загорятся зарницы
синих молний иных веков,
чтоб зари золотые страницы
перелистывать вновь и вновь...

Чтобы жизнь была вечно широкой,
голубой, как осенние дни,
чтобы люди все были, как боги,
чтобы не было женщин и книг...

Там за городом шум и крики,
наступает за цепью цепь...
И дрожат и тают снежинки
на твоём побледневшем лице...

В золотом звенящем закате
огневые трубы борьбы...

Мы с тобою, как будто братья.
Разве можно тебя забыть.

На тебе шинель с офицера,
в ней такая стройная ты.

Только ветер над городом серым,—
и луну проколол мой штык...

Синий снег... и кругом ни души...
В тихом городе нас только двое.
Отчего ж, отчего же скажи
мне так грустно сейчас с тобою...

XIII.

Подходили к темным нишам,
целовали холодные стены...
И звенел только ветер по крышам,
разметал снеговую пену...

И тревожно шептали каштаны
нам о том, что теперь не вернется...

И вставало в крови из тумана
над панелями смуглое солнце...

Над рабочим кварталом звоны,
слышны марша глухие взрывы...

Просыпается город бетонный,
просыпается день златогривый.

XIV.

И опять, и опять эшелоны,
и заря мертвецом на штыках...
на перронах знамена, знамена,—
тихий осени плач в проводах.

Звон копыт на далеких дорогах,
там, где ветер и желтые листья,
но сердца не измызжет тревога,
но не будем мы богу молиться.

Что любовь нам и бурь раскаты,
нам дорога одна, товарищ.
Полюбил я ветер, как брата,
и снегов голубые пожары...

Вот он, вот он летит и вьется,
точно дым над далеким заводом...
И стучат перебойно колеса,
и свисток свою песню заводит...

Золотые простерло ладони
над полями вечернее небо...
И грозились китайцы в вагоне
не идти в наступление без хлеба...

Мой товарищ, веселый эстонец,
говорил о любви и братстве...
Было тихо в товарном вагоне,—
и смотрели молча китайцы.

Разгорались узкие очи,
и светлели желтые лица...
Это было холодной ночью
с первым снегом и ветром мгlistым...

XV.

Получил письмо в дороге.
Дорогой и знакомый почерк...
И блеснули в тоске и тревоге
твои теплые серые очи...

Что любовь нам и бурь раскаты,—
нам дорога одна, товарищ!
Полюбил я ветер, как брата
и снегов голубые пожары...

XVI.

На коне военком сероглазый,
так знакомый на фоне пожара...
„Я как будто встречался с вами“—
и винтовка в руках задрожала...

Золотые запели трубы...
было слышно, как сердце стучало,
целовал и в глаза, и в губы;
любят так только с сердцем алым...

Любят так только к смерти готовые
каждый час, каждый миг за свободу,
кто над миром зарницы новые
в буревых зажигает походах.

XVII.

В переулках ветер и люди,
фонари, да любовь, как всегда,—
а за городом гром орудий
разрывает гулкую даль...

XVIII.

Не заря зацвела на востоке,
не пожар расплескался рядом,—
заалели любимой щеки
под моим непутевым взглядом...
Только левые руки свободны,
в правых чутко звенят винтовки...
И дрожат твои пальцы холодные
под моим поцелуем неловким...

XIX

Под крылом темно-синим ночи
Золотые бубенчики звезд...
Где то четко и сумрачно строчит
Огневой стрекозой пулемет.
И рассвет протянул свои руки
над задумчивым млечным путем...
На тебя я гляжу без муки,
под расстрел мы спокойно идем.
И так странна нам белых команда
в тусклом блеске кокард и погон...
А за нами дрожит канонада
и далеких разрывов звон...
Ох, ты снег мой, душистый от крови!
Дула ружей, да пятна лиц...
Только дрогнули тонкие брови
под сухое да ржавое: „пли!“
Снова выстрелы жалкою дробью,
звон копыт... и зачем то темно...
И как будто удары по гробу
чем то мягким вверху надо мной...

XX

Вербы сонные... желтые лица...
желтый месяц глядит в камыши...
И, как будто в тумане: „Сестрица!“
И слова, точно вздохи машин...
И качаясь плывут надо мною
не букеты из желтых цветов,—
а над степью вдали голубую
полдня южного шлем золотой...

XXI

Ах, шумели нестройно снаряды...
А над морем огни кораблей...
Ты пришла с партизанским отрядом,
где погоны, да кровь на земле...

XXII

Убегал из палаты влюбленный,
по звенящим ходил площадям,
и над морем, под ветром соленым
долго слушал, как волны гудят...

Синий ветер и синее море...
По воде золотая рябь...
И, как прежде, осенние зори
перламутровым блеском горят...

XXIII.

Убегали на север вагоны,
терпко били по сердцу звонки...
В небосклон голубой и бездонный
все тревожней кричали гудки...

Целый день звон копыт и стали...
(А за городом цепи десанта...)
Чьи же руки так нежно вплетали
в гриву коням кровавые банты...

Напряженно ряды за оградой
обегают глаза мои пьяные:
не мелькнут ли под шапкой лохматою
твои губы насмешливо-странные.

И когда за последним отрядом
проводжали тифозных и раненых,—
я с твоим повстречался взглядом,—
но какой то он был затуманенный...

Не зря над далекими шахтами,
не гудков соловьиные звуки,—
покрывал поцелуями жаркими
я твои похудевшие руки...

Нам цветы не бросали с балконов,
только зданий гремящий ряд
проводжал синим градом колонны,—
и бежали с боков тополя...

Уходили в звенящие дали...
Пахла степь полынем и кровью...
И так долго над нами дрожали
золотые вечерние брови...

Звезды, звезды, зачем вы далеко?...
Я хотел бы сорвать вас разом,
чтоб любимой в кобур ненароком
вас насыпать дождем алмазным!..

XXIV.

В синеве потонул бронепоезд...
только где-то колеса стучат...
и как будто опять я в забое
звонкий уголь дроблю сгоряча...

На твои потускневшие плечи
мне-ль, заря, каждый вечер глядеть,
и молиться тебе каждый вечер
голубыми стихами везде...

Променял я пахучее поле
на трамваи, на крики гудков...
и стихами про новую долю
расплескался звенящей рекой...

Там далеко мой город любимый,
даже в рельсах слышна его дрожь...
и, как волны во время прилива,
шелестит запоздалая рожь...

XXV, XXVI.

.
.

XXVII.

В этом городе наши знамена...
звучно роты чеканят свой шаг...
и так ярко над морем колонным
кровь заката горит на штыках...

На трибуне с улыбкою Каменев...
как железно курсантов кольцо!..
Тихий вечер на серые камни
уронил голубое лицо...

XXVIII, XXIX.

.
.

XXX.

Теплым звоном далекое море
даже в каждой пылинке дрожит...
может быть в голубом прибое
и моя там осыплется жизнь...

Может быть... Ну, да что там, товарищ,
дай мне губы твои кровавые..
мы сегодня в любовном угаре,—
ты сегодня какая-то славная...

Уезжаешь туда, на север...
вспоминай-же меня, плутовка,
и стихи мои нежные гневные
и мои поцелуи неловкие.

Не луны раскололась утроба
и упала, гремя, с облаков,—
мы сорвали в дыму Перекопа
золотые забрала веков...

Не чеканят шаги патрулей
золотой, вечерний асфальт...
отзвенели, отцокали пули...
На письме твоём штемпель: Москва.

Владимир Сосюра.

И. В О Р О Н И Ц Ы Н.
В А Л Е Н Т И Н Р О Ж И Ц Ы Н.
М. Р А Ф А И Л.

В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.

В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.

В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.

В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.
В. А. Ф. А. Н. Е.

ИЗ МРАКА КАТОРГИ.

(1905—1917).

I.

Севастопольское восстание.

Его причины. Лейтенант Шмидт. Н. Л. Конторович. А. М. Мазин. Иван Сиротенко. Вой. Гибель „Свириного“ и „Очакова“. На „Ростиславе“. Герои „Очакова“. Кондуктор Частник.

Восстание приближалось к своему концу. Неизбежным и роковым образом оно должно было кончиться нашим разгромом. Этот конец предвидели и чувствовали многие из нас с самого начала. Но сознание долга и революционное чувство не позволяли нам отойти в сторону, толкали и побуждали к действию.

Движение стихийно нарастало с 11 ноября. Сначала митинги, „мирная“ стачка матросов... Вырабатываются требования экономического и общего характера. Восторженное массовое творчество программы новых условий жизни. Убийство офицеров, пытавшихся задушить вооруженной силой этот порыв... И пошло расти, расширяться, захватывая одних, отталкивая других. Потом остановка... Начинает чувствоваться отсутствие полной непосредственной поддержки. Примкнувшие части или открыто переходят на сторону правительства, или пассивно предоставляют нам раздвигаться со стягивающим силы и переходящим в наступление врагом. На судах царит колеблющееся настроение. Команды некоторых из них доблестно отдали замки от орудий в самом начале восстания. Другие же суда подняли красный флаг уже тогда, когда для нас, руководителей и сознательных участников, стало совершенно ясно, что на победу рассчитывать не приходится и нужно лишь, придав движению организованный характер, достойно его завершить.

Только „Очаков“, воспротивившийся разоружению, и несколько миноносцев, захваченных нами внезапно, были боеспособны. На „Потемкине“, переименованном в наказание за летний мятеж в „Святителя Пантелеймона“, ударников к орудиям не было и раньше, но настроение в команде сохранялось по традициям революционным. За то флагманское судно, броненосец „Ростислав“, имел специально подобранную команду и в течение всех этих дней был страшной угрозой для очага восстания—флотских экипажей, где заседал Совет матросских, солдатских и рабочих депутатов. С вечера до утра яркий свет его прожектора нервировал нас и в зданиях экипажей, и на судах и в порту. И в эту последнюю ночь только угроза „мины в бок“ с одного из наших миноносцев заставила его прекратить начинаемые враждебные действия.

Движение протекало под флагом Р. С.-Д. Р. П. Задолго до октябрьских дней наша Севастопольская организация вела систематическую революционную работу среди матросов и солдат. За последние месяцы не было ни одного серьезного провала и, благодаря этому, в

решительный момент организация смогла располагать значительными по тем временам партийными кадрами. Организация социалистов-революционеров в те дни была слаба и силами, и влиянием, была можно прямо сказать, непопулярна. Этим и объясняется то обстоятельство, что все попытки эсеров вмешаться в восстание оставались тщетными.

Одна такая попытка мне вспоминается особенно ярко. На второй или на третий день восстания, ко мне подошли два матроса (вероятно, с. р-ы) и потребовали, чтобы я, как председатель Совета, дал разрешение приехавшим из Симферополя эсерам войти во двор и обратиться к матросам с речью. На дворе в то время происходил митинг. Разрешение, конечно, было дано, и один из членов Совета тут же пошел сказать караулу, чтобы симферопольских гостей пропустили. Матросы, узнав, кто такие прибывшие, отказались их выслушать, и только после некоторых увещаний с нашей стороны разрешили одному из них подняться на трибуну. Театральные жесты и витиеватая речь оратора, не скупившегося на иностранные слова, быстро разогнали аудиторию... Выступление оказалось неудачным.

Впоследствии социалисты-революционеры и устно, и печатно обвиняли нас в том, что мы из партийной ненависти, яко-бы не допускали их к участию в движении. Достаточно возразить на это, что отдельные матросы и солдаты из числа депутатов заявляли себя с-р-ами и играли выдающуюся роль в восстании (т. Циома) и что нами радостно был встречен близко стоявший к ним лейтенант Шмидт, когда он,—правда уже поздно,—предложил нам свою техническую помощь.

На этом эпизоде восстания необходимо несколько остановиться. Ноябрьское восстание часто называют Шмидтовским, благодаря колоритной фигуре, резко выдлившейся на массовом фоне, и трагичкой судьбе „красного лейтенанта“. Призванный во время русско-японской войны из запаса флота, Шмидт заслужил любовь матросов своим сердечным отношением к ним, резко отличаясь в этом от остальной массы офицерства. Популярность его особенно возросла после речи, произнесенной на похоронах жертв октябрьских событий в Севастополе. И понятно, что когда к вечеру 13 ноября Шмидт запросил Совет о том, желательно ли его участие в восстании, мы радостно приветствовали новую силу, способную взять на себя руководство военными действиями. Единственным условием было поставлено подчинение Совету. И это условие было им безоговорочно принято.

Характерно было отношение Шмидта к восстанию, высказанное им во время происшедшего в тот же вечер совещания. Он был сторонником единовременного восстания во всей России, организуемого революционными партиями и разражающегося по данному сигналу „Нажимают кнопку, и—трах! готово!“—картинно сказал он. Как же относиться к таким восстаниям, матросской массы? Как отнестись к восстанию нашему, разразившемуся неожиданно, и которое, если бы было предоставлено самому себе, вылилось бы неизбежно в те же дикие формы без всякого политического содержания. Шмидт был вынужден признать, что оставлять такие стихийные вспышки на произвол судьбы, давать им выливаться в бунт, бесцельный и потому способный в общем потоке революции сыграть лишь отрицательную роль,—революционные партии не в праве. Но все же, думал он, такие движения нужно стараться приостановить путем компромисса соглашения с властью. Этим взглядом его и объясняется то, что он

посылает царю телеграмму, в которой, требуя немедленного созыва Учредительного Собрания, сохраняет верноподданнический тон. Эта телеграмма была задумана и послана без ведома Совета и до подавления восстания о ней нам ничего известно не было. Вероятно, Шмидт был единственным автором ее, хотя и не исключена возможность инспирации со стороны его друзей в Севастополе.

В целях исторической справедливости следует сказать, что Шмидт был человеком искренним и все, что он делал во время восстания, делалось без всякой задней мысли. Виною этого нарушения принятого им на себя обязательства послужила его крайняя импульсивность и неустойчивость в убеждениях. Этим же нужно объяснить и то, многих больно поразившее обстоятельство, что незадолго до своего трагического конца он солидаризировался с оформившейся тогда кадетской партией и подал прошение на имя царя о помиловании.

Шмидт сразу обосновался на только что построенном броненосном крейсере 1 ранга „Очакове“. Команда крейсера в качестве командира выдвинула кондуктора Частника, человека стойкого и смелого, бывшего членом нашей военной организации.

Появление Шмидта несомненно подняло дух, как на самом „Очакове“, так и на других, примкнувших к восстанию судах. Во главе потемкинской команды стоял матрос Циома. Несколько человек портовых рабочих, переодетых в матросские костюмы также все время находились на этом броненосце. Но на броненосце „Три святителя“ команда в революционном отношении была много слабее. Их депутаты были несколько оторваны от массы и все время находились на суше, в экипажах. Тем не менее, когда мы захватили порт, чтобы овладеть находившимися там запасными замками к орудиям и винтовкам, у действовавших там матросов я часто замечал ленточки „Трех святителей“.

На суше, кроме значительной группы матросов из экипажей, активным ядром восстания была саперная рота с ее выборным командиром М. С. Барышевым. Уже на второй день восстания покинули саперы свои казармы, захватили винтовки и патроны, и в полном порядке перешли в экипажи, встреченные звуками музыки и радостным „ура!“ матросов.

В процессе сплочения сил и оформления лозунгов движения выделился целый ряд фигур руководителей движения. На первом месте надо назвать недавно умершего Н. Л. Конторовича. Старый член Севастопольской организации он только что, по амнистии, вышел из тюрьмы и с накопившимся за многомесячное заключение жаром принялся за работу. Его фигура—то в „вольном“, то в матросском костюме—всегда мелькала там, где нужна была инициатива, где чувствовалось колебание или упадок духа. Бодрым, неунывающим, всегда уравновешенным помню я его в эти трудные дни. Весело встретил он потом смертный приговор, а когда „милость“ начальства заменила смерть пожизненной каторгой, он проявил тот же стоицизм, бывший у него лишь внешним выражением глубокой веры в правоту и истину пролетарского идеала, служению которому он посвятил свою жизнь. И таким же я помню его всегда в эти бесконечные годы Шлиссельбургской каторги, откуда он вышел, правда, не по летам постаревшим, седым, но готовым целиком отдаться родному делу. В 1917 году он член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, а позже, в период господства в Крыму белых, был арестован и выслан на Кавказ. Он умер в Севастополе, возвратясь из ссылки в конце 1921 года.

Я не могу здесь, в этих коротких заметках, говорить сколько-нибудь подробно о тех героях и работниках революции 1905 года, с которыми пришлось мне столкнуться в дни восстания в Севастополе и с которыми потом я делил лишения каторги. Но о некоторых, уже погибших, я хочу и здесь, и на дальнейших страницах этих воспоминаний сказать те несколько слов, которые, хоть бледно и слабо, воздадут должное их красной памяти.

Рабочий литейщик старый социал-демократ А. М. Мазин случайно попал в Севастополь в ноябрьские дни. Всю жизнь он кипел совсем особенным, редким энтузиазмом. Заплативши за короткий миг свободы и борьбы особенно тяжелым для его кипучей натуры каторжным томлением, он и по освобождении не отошел, подобно многим, в инертную обывательскую массу и славной смертью завершил революционную жизнь. Он погиб от пуль контр-революции в Бердянске, своем родном городе.

Иван Сиротенко выделился во время восстания, как исключительно смелый и решительный человек. После семилетней службы во флоте он был уволен в запас и всей душой рвался домой к себе, в Харьковскую губернию, где его ждала жена с двумя маленькими детьми. Но начавшиеся события удержали его. Я помню, как на одном из предшествовавших восстанию собраний военной партийной организации он заявил, что пока в нем будет хоть малейшая необходимость, он останется с ними. Когда в конце октября на „Пантелеймон“ прибыл контр-адмирал Чухнин, гроза флота, от имени команды к нему обратился Сиротенко. Он говорил смело и резко. И только боязнь вызвать взрыв среди матросов, у которых Сиротенко пользовался исключительной популярностью, удержало начальство от ареста смельчака. Он погиб во время восстания. Обстановку его смерти точно установить нам не удалось. По официальной версии труп его через несколько дней после подавления восстания всплыл на поверхность. Лица, видевшие его мертвым и опознавшие его, рассказывали, что на теле имелись огнестрельные раны. Матросская же легенда рассказывает, что он не был расстрелян на воде, когда спасался вплавь с тонущего миноносца, но был подобран катером с „Ростислава“ отведен в трюмное помещение броненосца и там замучен ненавидевшими его офицерами.

О судьбе многих ни мне, ни тем немногим участникам нашей эпопеи, с которыми приходилось встречаться, ничего не известно. Каждый из них, на ряду со многими другими, вложил свою энергию и разум в дело того восстания, которое было подброшено, если можно так выразиться, на наши руки в стихийном процессе революции. Часто с отчаянием в душе, без веры в непосредственную удачу дела, напрягали мы последние силы, чтобы наше движение было достойным эпизодом, цельным звеном в общей цепи переживаемых Россией событий.

И все же в тот день, когда правительственные силы заключили нас в свое железное кольцо, мы далеко еще не были готовы дать им достойный отпор.

Это был ясный солнечный день, какие нередко бывают в Крыму в начале зимы. Я на паровом катере подошел к „Очакову“, чтобы переговорить со Шмидтом о согласовании действий в нашей общей лихорадочной работе по подготовке обороны. В пути я узнал, что замки к орудиям, доставленные на „Пантелеймон“ не подходят, что на „Трех Святителях“ также не готовы. Было ужасно потому, что наша разведка сообщала об усиленных приготовлениях врагов, о начавшихся агрессивных действиях, выразившихся, в частности, в

замене дружелюбно-нейтральных команд на крепостных батареях офицерами и добровольцами. И в завершение неудач оказывалось, что машины „Очакова“, только что собранные приехавшими из Сормова рабочими, почему то неисправны.

Матрос Горобець, стоявший во главе нашей разведки, тут же на привезшем меня паровом катере отправляется в город разыскивать матросов. Не прошло и нескольких минут, как до нашего слуха долетел первый орудийный выстрел.

Нашим естественным предположением было, что стреляли по собравшейся на приморском бульваре огромными массами любопытствующей и сочувствующей публике.

Шмидт немедленно отдал канонирам соответствующее приказание и предложил контр-миноносцу „Свирепому“ плыть к экипажам, приготовить мины и орудия. В виду важности момента командовать „Свирепым“ вызвался Сиротенко. Я тоже спустился на миноносец, не столько, чтобы быть участником первого боевого действия, как для того, чтобы быть ближе к флотским казармам, где мое присутствие было необходимым.

Сиротенко стоял на мостике, судорожно ухватившись за поручни, с выражением суровой решимости на смуглом красивом лице.

— Мы им покажем, как стрелять в народ! Мы им покажем! — повторял он.

Команда его звучала резко и уверенно.

Из Южной бухты, обогнув Павловский мысок, „Свирепый“ пошел на большой рейд между „Ростиславом“ и „Память Меркурия“. У нас все еще была надежда, что, видя нас готовыми к атаке, верные правительству суда боя не примут. Наше внимание в этот момент было привлечено мчавшимся на всех парах катером; на носу его стоял Горобець и махая фуражкой, что то кричал.

— В чем дело? — спросил я, когда катер срывался с нами.

— Товарищ председатель! Стреляли по бульвару!

В этот момент, раздался выстрел, — кажется с „Терца“ (канонерская лодка), — и катер пораженный в самую середину, мгновенно пошел ко дну. Мы не имели времени спасти барахтавшихся в воде людей. Мы сами должны были принять бой с уже направлявшими на нас свои орудия враждебными судами. Впоследствии я узнал, что большинству людей с катера, в том числе и Горобцу, удалось спастись вплавь.

Этот выстрел был как бы сигналом, и мы в свою очередь подверглись ожесточенному обстрелу. Первым открыл огонь по нас „Ростислав“ из левой носовой башни и из винтовок, и в то же мгновение к нему присоединились „Память Меркурия“ и минный крейсер „Капитан Сакен“.

Среди грохота взрывов и визга пуль громко раздавался голос Сиротенко, отдававшего приказания. Наше орудие на мостике дало несколько выстрелов по „Ростиславу“.

Затем наступил конец. Из машинного отделения сообщили, что снарядом испорчена машина. Разрушенная взрывами корма стала уходить в воду. Канонир, стоявший возле нас на мостике, был убит. Поражаемые осколками снарядов и пулями градом сыпавшимися из поставленных на Историческом бульваре пулеметов, люди бросались в воду или укрывались в носовой кубрик. Туда же втокнул Сиротенко и меня, а сам, после нескольких колебаний бросился в воду.

Обвинительный акт, холодно, казенными словами описывающий гибель „Свириного“, так характеризует этот последний момент: „однако „Свириный“ красного флага не спускал и продолжал стрелять до тех пор, пока не получил таких повреждений, что потерял способность двигаться, причем были разрушены все надстройки его палубы.“ Около получаса еще нас обстреливали из пулеметов. Пули непрерывно стучали по броне кубрика и по палубе, но когда один из матросов спустил красный флаг, у нас наступило затишье.

Но за то гроза бушевала над „Очаковым“. Не только „Ростислав“ перенес на него свой орудийный огонь. Его громили и крепостные батареи и полевая батарея, расположенная на Северной стороне.

Несчастный крейсер, лишенный способности маневрировать, сопротивлялся недолго; первые же неприятельские снаряды вызвали на нем пожар. Люди гибли в огне на горящем крейсере, от осколков непрерывно рвавшихся снарядов, а спасавшиеся вплавь или на лодках жестоко расстреливались. Приказ руководившего усмирением известного палача барона Меллер-Закомельского о беспощадности, исполнялся не за страх, а за совесть. Ненавидный красный крейсер еще в течение долгого времени служил мишенью озверевшим палачам, а затем на бухте все стихло.

По официальной версии „морской бой“ начался в 3¼ часа дня, а по „Очакову“ стрельба была прекращена в 4 ч. 45 м. Мы, конечно, по часам не следили. Но, сопоставляя впечатления многих участников восстания, я могу смело заявить, что от первого орудийного выстрела до последнего прошло не менее 2½ часов.

На Южной стороне перестрелка и обстрел флотских экипажей продолжались в течение всей ночи. Изменивший нам и перешедший на сторону правительства Брестский полк только утром 16 ноября, когда изсякли патроны у осажденных, овладел флотскими казармами *).

Всего этого непосредственно наблюдать я уже не мог. Оставшиеся в живых на „Свирином“ были сняты с полужатопувшего судна и доставлены на „Ростислав“.

Там уже было несколько человек, подобранных на воде. Мокрые, продрогшие лежали они на палубе.

Нас выстроили в ряд. Командир броненосца, хромой адмирал (фамилию я не помню), набросился на нас, топая ногами и изрыгая ругательства. С особенной силой его ярость сосредоточилась на мне: я не переодевался в матросский костюм и моя „вольная“ одежда ясно указывала на то, что я „агитатор“.

— Расстрелять его!

Я снял с себя пальто, отдал его только что подобранному на воде матросу Штрикулову, с которым мы впоследствии вместе пережили годы заключения, и отошел от товарищей. Было как то безразлично. Всем существом овладела полная апатия — реакция на пережитый в эти дни нервный подъем. Чувствовалась смертельная усталость, и в мозгу была только одна мысль: скорей бы уж все кончилось.

*) Помещенные выше отрывки из воспоминаний автора о ходе восстания не претендуют за полноту. Они служат только введением к рассказу о сравнительно слабо освещенном в нашей печати периоде политической каторги за время 1906—1917 г.г. Партийный отчет автора о Севастопольском восстании был опубликован за границей в 1906 или 1907 г. В настоящее время им подготавливается к печати описание восстания по официальным данным и воспоминаниям участников.

Очевидно адмирал ожидал испуга, просьб, слез... Вышло шесть человек матросов с винтовками. Но тут последовало:—Отставить!—и я снова занял свое место в ряду товарищей.

Нас переписали. Когда очередь дошла до меня, записывавший нас офицер спросил:

— Вы революционер?

— Да, я социал-демократ.

— Неправда! Демократы против насилия и крови. А вы, смотрите, что вы наделали.

— И все таки я социал-демократ,—ответил я, пожимая плечами.

Офицеру этому пришлось ждать следствия и суда, чтобы убедиться в том, что я действительно социал-демократ и что „демократы“ тоже не прочь употребляют при нужде „насилие“.

В этот момент мы наблюдали ужасную картину. От горящего „Очакова“ отделилась шлюпка, наполненная спасавшейся командой. Послышалось приказание стрелять по ней. Холодно и спокойно один из офицеров навел орудие, и вслед за выстрелом раздался дикий потрясающий вопль гибнущих. И такой же вопль поднялся с берега, откуда тысячные толпы наблюдали разыгрывающуюся драму. Ужас и возмущение слышались в этом отклике зрителей на совершившееся зверство.

Через несколько минут после этого нас посадили на шлюпки и под сильным конвоем перевезли на Северную сторону, где разместили в артиллерийских карцерах.

Но прежде, чем ввести читателя за те железные решетки и каменные стены, откуда многие из нас, оставшихся в живых, вышли только через одиннадцать слишком лет, я хочу сказать еще два слова об „очаковцах“ главных героях восстания.

К моменту подавления восстания на крейсере было 356 человек команды. Трудно сказать, сколько погибло 15 ноября. По официальным сообщениям видно, что, по прекращении пожара на „Очакове“, с него было снято 15 обуглившихся трупов, 16 ноября выплыло 3 трупа, „а в последующие дни,—как глухо говорится в официальной версии,—постепенно выплывали еще трупы и предавались земле“. В военно-морской госпиталь было доставлено тяжело раненых—29, легко раненых—32, обожженных—19 и ознобленных—6. Молва матросская гласила, что погибло несколько десятков. И на этом неопределенном указании приходится остановиться.

Среди погибших много людей, вполне сознательно шедших на смерть за великое дело. Имена их навсегда останутся нам неизвестны. Такова общая судьба огромного, подавляющего большинства павших в революционной борьбе. Об этом жалеть не приходится тем, кому на долю выпал счастливый жребий продолжать их дело, дело рабочего класса, лучшими борцами которого они были.

Одним из тех немногих, чье имя сохранилось и в памяти оставшихся в живых, и в официальных архивах, был С. П. Частник, кондуктор (старший баталер) „Очакова“. Он был душой и истинным героем этого эпизода ноябрьского восстания. Сверхсрочная служба во флоте не убила в нем того огня, который еще в молодые годы—в начале 90-х г.г.—загорелся в нем под влиянием революционной пропаганды. „Уже десять лет, как я поклонник свободы“—сказал он радостно окружающим его матросам, когда все офицеры и кондуктора, верные царской присяге, съехали с возмущившегося крейсера. Матросы избрали его командиром корабля. Когда выяснилось окончательное крушение дела и Шмитд, переодетый в матросское платье

покинул крейсер, делая попытку спастись на одном из миноносцев. Частник предпочел остаться с командой до конца. В числе последних уцелевших он был снят с горящего судна и принят на полубаркас с „Синопа“. И здесь он смело взглянул в лицо палачам.

— Теперь вы нас убиваете и судите. Подождите — через несколько дней, ну, через год мы с вами будем делать то же, да еще и похуже. Не я, так другие, найдутся, которые отомстят за нас ¹⁾.

II.

Севастопольские тюрьмы.

Карцера. Перевод в городскую тюрьму. Тюремная философия. Надзиратель „голубь“. Режим в тюрьме. Жандармский обыск. Стрельба по окнам. Ход дела. Суд над очаковцами и казнь. Казненные Гладков и Антоненко. Попытки побега. Похищение дела. Суд откладывается. Морские карцера. Суд. Перевод в морскую тюрьму. Обыск. Отъезд. Севастополь—Москва—Смоленск.

Артиллерийские карцера—это старое промозглое здание, сырое и грязное, полное той особенной вони, которая свойственна военным тюрьмам, каталажкам захолустных городов и арестным помещениям при полицейских участках. Этот запах, запах кислых щей, сырого черного хлеба, человеческого пота и испражнений, запах парашки и покрытых плесенью стен, сразу ударил мне в нос и как то привел в себя. Захотелось чайку, хотя бы горячей воды без сахара, и кусочка хлеба. Караул (кажется от Литовского полка) оказался совсем уже не таким свирепым, как этого можно было ожидать после всех издевательств и оскорблений, которым подвергались мы со стороны морских конвоиров. Появился котелок с кипятком и кусок хлеба. Мы отогрелись и языки развязались.

Говорилось о пережитом, о смерти друзей и товарищей и о предстоящем.

Каждый из нас был уверен, что пощады ждать не приходится и спасению притти неоткуда. Мы были взяты, так сказать, с оружием в руках, были участниками, а некоторые руководителями открытого военного мятежа. Единственное сомнение, которое еще оставалось, это—растреляют нас без суда, сейчас же, как только случится у победителей свободная минутка, или будет разыграна комедия полевого скорострельного суда. Нам было известно, что весь крепостной район объявлен на осадном положении, и мы все хорошо знали, как эта формула обычно применяется к взятым в плен мятежникам.

Настроение не было убитым и подавленным. Не было, правда, и того нервного бахвальства, под которым часто, в подобных случаях, прячется на людях страх перед неизвестным роковым.

Люди говорили обычными голосами и занимались привычными делами. Кое-кто лег спать, другие беседовали с караульными, расспрашивая о харчах, разузнавая, нет ли земляков; остальные, попивая чай, разговаривали друг с другом.

Кто-то, ухватившись за решетку, влез на окошко, выходявшее на бухту и сообщал сверху, что видно.

Горел „Очаков“. Белые линии прожекторов, скрешиваясь и расходясь, полосовали бухту и пустынные, точно мертвые окрестности. Вспышки редких выстрелов освещали небо. Через неровные проме-

¹⁾ Обв. акт по делу о восстании на кр. I-го ранга „Очаков“.

Не так скоро, как мечтал расстрелянный на о. Березани моряк, но его пророческие слова исполнились.

жутки доносились звуки негустых залпов. Что это? Идет ли еще гденибудь борьба, или уже приступили к расстрелам. Залпы слышались в направлении флотских экипажей и их неспешные промежутки невольно внушали мысль о последнем.

Скоро придет и наш черед. И с этой думой усталые головы склонялись, веки слипались, и один за другим мы погружались в сон. На голом и грязном полу было сыро, холодно и жестко. Мы тесней прижимались друг к другу, чтобы согреться.

Ночь быстро прошла в мертвом усталом сне. Загорался холодный день, первый из долгого, бесконечного ряда тюремных дней.

В карцерах мы были совершенно отрезаны от города и не имели никакого понятия о том, что там происходит. Оставшиеся на воле друзья не могли со мной снестись, так как они не только не знали о том, где я нахожусь, но и не знали, уцелел ли я. Больше того, находились даже очевидцы моей смерти.

И когда вечером на третий или четвертый день, сильный конвой при офицере повел меня куда то по пустырям и задворкам, я шел с уверенностью, что настало время предстать перед полевым судом, а затем покончить расчеты с жизнью. Я был молод и полон сил, и подобная перспектива мне не улыбалась. Несколько раз во время этого длинного пути пытался я нащупать слабое место в окружавшем меня живом кольце и искать спасения в темноте, но всякий раз, когда я отклонялся от центра, приближаясь к тому или другому солдату, меня встречали холодно поблескивавшие штыки. Приходилось подчиняться.

Совершенно неожиданно во мраке вырисовалась громада каких то зданий. Маленькие тускло освещенные квадраты окон. Расплывчатые силуэты решеток. Тюрьма.

„Значит, суд будет в тюрьме и тут же исполнят приговор“, — мелькает мысль.

Проходим в одни ворота. Не доходя до вторых, внутренних, поднимаемся по лестнице, входим в большую казенного вида комнату. Простая обстановка тюремной канцелярии, а за столом дежурный помощник начальника. Под расписку меня сдают, принимают, и конвой исчезает.

Обычные вопросы: имя, отчество, фамилия, звание, возраст, есть ли ценные вещи и т. д. После традиционного, довольно поверхностного обыска ведут по переходам, коридорам.

Как всегда, новая тюрьма кажется сложной, таинственной, загадочной. Знакомо-приветливо щелкает дверной замок одиночки и тут же, откуда то сверху коротко и деловито падает звук одноударного звонка, зовущий надзирателя. А надзиратель взглядывает с улыбкой наверх, громко бросает: „Сейчас!“ и с тихою гостеприимною вежливостью, почти бесшумно, закрывает широко распахнутую дверь.

Все в порядке. Чувствуется какая то уверенность, успокоенность. Теперь все будет идти в привычном порядке уже давно знакомой мне тюремной жизни.

Несмотря на крайнюю молодость (мне было всего двадцать лет), я уже был опытным тюремным сидельцем. В 1903 году я провел восемь месяцев в обоих харьковских тюрьмах. Этапное странствование в Архангельскую губернию познакомило меня с рядом тюрем, начиная с Бутырок и кончая Холмогорской „этапкой“. В начале 1905 года я прошел полугодовой курс в Московской „Таганке“. И делая ретроспективный обзор своего далекого и не столь далекого тюрем-

ного прошлого, мне хотелось бы здесь, сейчас же, поспешить с выводом, дать маленький кусочек тюремной философии.

В тюрьме нет ничего хуже *неприятна* тюрьмы. Тот революционер, который с первого же дня начинает носиться с мыслью, что его, *может быть*, скоро выпустят, у которого, следовательно, тюремное жизнеощущение сложится в тонах минорных,—самое несчастное существо в мире. Он будет неспособен к тюремной борьбе с вечным врагом—начальством. И если товарищеский долг в эту борьбу его вовлечет, он будет ядром на ногах и камнем на шее у тех товарищей, которые и в тюрьме чувствуют себя „на почетном посту“. Без борьбы тюрьма немыслима. Сидящий всегда к ней готов, даже в те дни и месяцы, когда размеренно и спокойно идет жизнь. Средства и формы этой борьбы бесконечно разнообразны и в высокой мере индивидуальны. И это знает не только каждый пленный революционер, но и каждый тюремщик. В психологии того поколения, к которому принадлежу я, тюрьма сыграла не малую роль. Она выработала те общие черты характера, которые у предшествовавших нам поколений выражались еще более ярко: энтузиазм не только в важном, но и в мелочах, романтизм, противоречивший порой теоретическому реализму, стойкость и негибкость в вопросах даже практического свойства. И тюрьму—нашу школу и наш университет,—мы даже любили. Мало кто из людей, много времени проведенных в заключении, даже в самых скверных тюрьмах, не найдет нескольких добрых воспоминаний в этом мрачном прошлом и не помянет несколькими теплыми словами то холодное время.

Нет ничего удивительного, что, очутившись в одиночке городской севастопольской тюрьмы, я почувствовал себя сразу по домашнему, успокоенно.

Что будет дальше? В будущем?... Ведь, там будет видно.

Уже в первый вечер моего пребывания в новой тюрьме некоторые стороны условий заключения меня приятно поразили.

Усатая физиономия татарского типа появилась в беззвучно отворенной форточке двери и, призывая к осторожности усиленным морганием и шипением сообщила, что о моем прибытии уже дано знать товарищам на волю. Из дальнейшей беседы я узнал, что он занимает пост привратника и пользуется полным доверием начальства. С другой стороны, поставив ему ряд вопросов, я выяснил, что он „блатной“; т. е. подкупленный и пользующийся доверием арестантов надзиратель. И откровенность его дошла до того, что он уже стал практически ставить вопрос об организации побега, а алчное поблескивание его глаз доказывало, что за деньги он сделает действительно все. О побеге разговор мы пока оставили, а условились лишь о том, куда ему отнести от меня письмо и как передать мне ответ.

С этого момента установилась прочная связь с волей. Жена „голубя“ *) посещала ведших с нами сношения лиц, сдавала им наши письма и получала обратную почту. Сам же он был примерным подомоседству надзирателем и вообще отличным служакой. Он не только не страдал от своего посредничества, но с нашей помощью, не раз отличался перед начальством и позже был назначен старшим надзирателем в отделении городекой тюрьмы. Нам он служил верно, т. е.

*) „Голубем“ у заключенных называется лицо, чаще всего надзиратель, которое является посредником для нелегальных сношений с волей, получая за это иногда значительное вознаграждение. Я говорю: чаще всего надзиратель, но мне приходилось пользоваться услугами „голубя“ в рясе и даже в мундире помощника начальника.

аккуратно исполнял поручения. Ни о каких идейных побуждениях, понятно, тут речи быть не может. Служить заключенным революционерам побуждала его корысть. Ремесло это хорошо оплачивалось, он видел в нем выгоду. Когда же пошла полоса самых жестоких преследований революционеров и режим в тюрьме стал более суровым, перед ним открылась более прибыльная и менее рискованная карьера: он сделался палачем. Так, по крайней мере, несколько лет спустя рассказывал мне один брат—каторжанин, прошедший через севастопольскую тюрьму.

В этот момент в городской тюрьме политических еще не было. Участники восстания сидели на гауптвахте, в пловучей тюрьме, в морекой тюрьме, что на южной стороне рядом с флотскими казармами, и в самых экипажах, один корпус которых был превращен во временную тюрьму. Но через несколько дней, когда началось следствие и удалось приблизительно разобраться в массе арестованных, начальство поторопилось отделить гражданских лиц от военных и их стали переводить к нам. Скоро одиночное крыло было набито до тесноты. Сюда прибыли Конторович, Генькин, Мазин, Клименко и др., среди которых оказались и люди случайные, захваченные в момент общей неразберихи под видом мятежников. Были люди которые, спасаясь от пуль и снарядов, укрылись в экипажах и не могли уже потом оттуда выйти, были и такие, которые в порыве человеколюбия пытались спасти гибнущих в воде очаковцев, а потом вместе со спасенными, арестовывались.

В тюрьме сразу водворился тот особый дух, воцарились те обычаи и нравы, какие отличали в те годы тюрьмы с большим количеством „политики“.

Тюрьма стала „свободной!“

В течение дня одиночки на замок не закрывались, заключенные могли свободно ходить по всему одиночному крылу, заходить в любую камеру, петь, шуметь, устраивать собрания и т. д. Надзор к нам и не заглядывал. Даже ночью, после поверки, когда камеры запирались, наблюдения за нами почти никакого не было. Самое большее, в чем могла проявляться надзирательская функция—это в подслушивании, так как глазки **) были забиты или заклеены изнутри и подглядывать в них было нельзя. На дверях и на откидных форточках были приделаны крючки или задвижки, так что в самодержавной тюрьме мы осуществляли неосуществимую на воле формулу вольности: мой дом—моя крепость. За мое время всего один раз наши одиночные крепости подверглись нашествию неприятеля. Но это нашествие произошло с соблюдением всех формальностей, требуемых законом.

В двери одиночек, занимаемых с-р-ами, арестованными по какому то аграрному делу, постучались ночью. Разбуженный обитатель крепости интересуется именем и званием нарушителя его покоя. Все, оказывается в порядке: и имя, и звание, и мундир голубого цвета и звон шпор, воистину жандармский.

— Что угодно?

— Произвести обыск.

— На каком основании?

И так далее, как полагается вести разговор в таких случаях.

В результате из тюрьмы выносятся гектограф, бумага отпечатанная, недопечатанная и совсем чистая и еще многое такое, чему по-

**) „Глазок“. „очко“, прозурка—отверстие в двери, большей частью, круглой формы, застекленное и снаружи прикрывающееся подвижным щитком. Французы красноречиво именуют это приспособление для наблюдения—„юдой“.

добает быть не в одиночной камере тюрьмы, а в обиталище подпольника. Кроме юмористического и обличительного журнальчика „Бомба“, распространявшегося и за стенами тюрьмы, жандармы приобрели в эту ночь вещественные доказательства и менее невинной, с их точки зрения, деятельности „заключенных“.

Возникло особое дело, обвиняемых по которому арестовать не удалось по фактической невозможности это сделать дважды.

Начальник тюрьмы получил нагоняй. Но изменить в тюрьме режим градоначальник отказался в пику жандармам. Вражда между морскими властями, в ведении которых находилась тюрьма, и жандармами, и была истинной причиной того, что в скорости после описанного приключения на свет божий стали один за другим появляться „Осколки Бомбы“. Эс-деки не отставали от эс-еров, и в этот период тюрьма была полна литераторов, каррикатуристов и печатников.

Но свобода внутри тюрьмы не распространялась на двор. На прогулку мы выходили под сильным конвоем. Окарауливавшие нас солдаты относились к нам часто враждебно, и случаи стрельбы по окнам были нередки.

Одного из нас, эс-ера Сосновского, от смерти спасла исключительно редкая случайность.

Он стоял у окна на табуретке и смотрел на волю. Без всякого предупреждения солдат прицелился и выстрелил. Метко направленная пуля должна была попасть в переносицу, но на пути оказался круглый прут решетки, к которому прислонился носом Сосновский. И пуля с такой удивительной точностью попала в центр этого прута, что не рикошетировала ни вправо, ни влево, а выбив в нем углубление и слегка его изогнув, разбилась вдребезги. Несколько металлических брызг в физиономию—вот все, чем отделался этот счастливчик.

Другая как то пушенная в окно одиночки пуля рикошетом перебила стоявшую на полке посуду.

Не всегда отделялись заключенные так легко. За время моего пребывания в этой тюрьме, двое уголовных в общих камерах были убиты такими выстрелами.

Свой протест во всех таких случаях мы выражали „тарарамом“, т.е. били окна, двери, стучали, кричали... Но ни протесты действием, ни письменные и словесные заявления не могли изменить отношения к арестованным со стороны некоторых охранявших тюрьму караулов.

Вообще же говоря, если та или другая воинская часть начинала часто приходить к нам в караул, с нею быстро завязывались дружественные отношения и среди солдат, а также начальников караулов—фельдфебелей и младших офицеров—встречались принадлежащие к революционным партиям или им сочувствующие.

В этой обстановке время летело быстро и не менее быстро производилось следствие по нашему делу. Следственным властям был отдан приказ закончить свою работу возможно скорее, чтобы до созыва Государственной Думы разделаться с нами. И следственная комиссия, состоявшая из следователей военно-морского суда и других военных юристов и неюристов, гнала во всю. Скоро нам стало известно, что дело будет слушаться по группам. В первую очередь будут судить очаковцев, к которым были отнесены и два студента—Моншеев и Пятин, эс-деки приехавшие в день подавления восстания из Одессы на пароходе „Пушкин“, пассажиры которого были задержаны Шмидтом. Оба они согласились примкнуть к восставшим и деятельно помогали Шмидту. Ко второй группе были отнесены команды

остальных восставших судов; к следующим двум группам были отнесены захваченные на суше во флотских экипажах матросы, саперная рота, солдаты брестского полка и других частей и, наконец, гражданские лица.

Такая разбивка на несколько групп участников единого выступления объясняется не только большим количеством обвиняемых, но и желанием по каждой группе вынести наибольшее число смертных приговоров.

Этот план удался лишь относительно первых двух групп, остальных обвиняемых по независящим, как увидим дальше, обстоятельствам, пришлось судить всех вместе и не так скоро, как хотелось этого властям.

Мы не сомневались в том, что приговоры будут суровыми. Прокурор Севастопольского военно-морского суда подполковник Ронжин обвинительным актом по делу очаковской группы уже показал, что в интересах своей карьеры он будет беспощаден. И приговоры оправдали эти ожидания.

Суд над очаковцами происходил в январе. 24-го января Главный командир Черноморского флота и портов Черного моря вице-адмирал Чухнин приказом объявил об отказе в направлении кассационным порядком дела очаковцев.

Смертные казни были неизбежны.

Но приговоренным к смерти четырем очаковцам под этой страшной угрозой пришлось прожить еще *сорок* дней.

6-го марта на пустынном островке Березани были они расстреляны. Лейтенант П. П. Шмидт, кондуктор С. П. Частник, А. И. Гладков, машинист 2 статьи и Н. Г. Антоненко, комендор.

Эта казнь для многих была неожиданностью. Даже в военно-морских кругах, в связи с подачей Шмидтом прошения о помиловании и столь долгой отсрочкой приведения в исполнение приговора царил уверенность, что приговор будет смягчен. Как говорили, казни все таки состоялись по личному настоянию царя.

Я говорил уже о фигуре Шмидта. Эта многогранная, сложная личность еще не в полной мере освещена историей. Его жизнь и трагическая смерть, его подвиги и падения—все это для нас психологически не прояснено, как то затуманено. Но как бы ни судить его, надо признать, что он был одной из самых ярких фигур революции 1905 года, выкинутых на поверхность прихотливой стихией. Его имя стало знаменем, вокруг которого преимущественно группировались втягивавшиеся в течение 1906 года в водоворот революции элементы интеллигентной молодежи. В течение нескольких месяцев после его смерти газеты пестрили сообщениями о тех манифестациях, которые были связаны с его казнью. Вероятно, не было газеты, которая не посвятила бы его памяти нескольких столбцов, часто с последствием в виде закрытия, конфискации, привлечения к суду редактора. Вокруг его имени возникала полемика, его память тянули каждая на свою сторону несколько партий.

Глухо упомянуты были в газетах имена трех матросов.

О Частнике я сказал уже. Он мужественно встретил смерть.

Александр Гладков, рабочий по воле и социал-демократ, был всегдашним депутатом матросов. Именно его команда, команда машинного отделения, первая начала открыто волноваться еще 8 ноября, т. е. за три дня до начала общего выступления. Эти волнения выразились в неповиновении командиру, когда он требовал, чтобы коче-

гарная и машинная команды разошлись по своим помещениям, а не устраивали бы сборищ. 9 ноября он от имени команды заявил жалобу военно-морскому прокурору на грубое обращение командира и плохую пищу. А в дни восстания он был депутатом и энергично работал над сплочением команды и подготовкой крейсера к бою.

Никита Антоненко был комендором, когда 13 ноября покинувшие, было, крейсер офицеры снова вернулись на борт. Спавшая команда была разбужена (было около 10 ч. вечера) и вызвана наверх. От нее потребовали, чтобы винтовки и ударники от орудий были выданы. На этом условии, мол, офицеры останутся на судне, а команда докажет свою верность долгу. В первый момент провокация подействовала. Раздались голоса:

— „Пусть берут... зачем нам это?“. „В этот момент, — рассказывает обвинительный акт, — раздался сдавленный, полный отчаяния крик бегущего с бака человека:—„Оружия не отдавать! Это ловушка!... И команда окончательно уперлась. Этим героем был Антоненко. С легкой руки одного из защитников, укоренился взгляд, что Антоненко не был сознательным участником мятежа. Его выступление объяснялось тем, что он, как преданный своему делу, примерный комендор, не мог допустить, чтобы орудия были таким способом кастрированы, и что, следовательно, описанный порыв его, укрепивший заколебавшуюся команду, был просто импульсивным актом. Это неверно. Антоненко, согласно всем показаниям, был одним из руководителей команды и пользовался влиянием.

Суд над второй группой происходил в начале июля, через несколько дней после убийства Чухнина матросом Акимовым, близким товарищем расстрелянного Частника. В день суда была объявлена однодневная забастовка, явившаяся внушительной демонстрацией. Глухо волновался флот и пехотные части и недавний (6 июня) мятеж первой роты крепостной артиллерии показывали, что в любой момент взрыв может назреть.

Резолюцией суда по делу этой группы четверо были приговорены к смертной казни, 82 к каторге и тюремному заключению. Смертные приговоры были заменены бессрочной каторгой, кажется в тот же день.

На смягчение приговора повлияла не только паника среди властей в связи с наблюдавшимся настроением масс, но и то, что среди обвиняемых по этой группе не было особо ненавистных начальству лиц.

За то все предрекало, что к некоторым обвиняемым двух последних групп казнь применена будет.

Все это время мысль о побеге нас не оставляла. Удачный массовый побег из превращенной в тюрьму флотской казармы надал нам жару. Наши друзья на воле тоже не дремали.

В первую очередь было решено устроить побег Конторовичу и мне, как главным обвиняемым. С помощью „голубя“ был сделан отпистк ключа от ворот. Был изготовлен ключ, который, после того, как калитка в воротах будет им отперта и затем, по нашем выходе, заперта, мог бы легко быть сломан в замке. Благодаря этому преследователи не могли бы легко открыть ворота. Получивший для пробы ключ „голубь“ передал, что он годится. Два боевика были специально делегированы одною из кавказских организаций. Заготовлено было два извожика. Мы были снабжены браунингами. Казалось, все в порядке, и побег должен удался.

В означенный день и час я ходил на прогулке по дворику перед калиткой один, так как по какой то причине Конторович не попал на прогулку. Он, кажется, был нездоров и находился в больнице.

Под'ехали дрожки. Подворотный надзиратель принял через форточку от приехавших передачу, на имя кого то из заключенных и пошел с ней в контору, а часовой, к моей великой радости, беззаботно отошел к другому концу двора.

Я подхожу к калитке, наклоняюсь у росшего возле нее кустика акации, как будто рассматриваю что то, и жду. Слышу, как вставляют ключ, вертят им, что-то говорят друг с другом. Вынимают, снова вставляют... Время проходит, а калитка не открывается. Наконец, вижу, с крыльца спускается надзиратель, неся пустую посуду от передачи, а часовой медленно подходит к калитке. Отчаянно кашляю, и отхожу. В открытую надзирателем форточку вижу бледную физиономию с выражением злости и разочарования.

Неловко ли действовали непривычные руки или „голубь“ обманывал, утверждая, что проверил ключ,—этого не удалось выяснить. Повторить эту попытку не пришлось, так как в это время нас перестали пускать на прогулку в франговом дворе.

Следующую попытку мы предприняли из больницы, где легче можно было вести переговоры с караульными солдатами, и можно было сговориться с одним из них. К тому же один из больничных надзирателей был совершенно своим человеком и обещал всяческую поддержку.

Через некоторое время удалось нащупать подходящего солдата, поляка из окрестностей Лодзи. Он с охотой обещал помочь нам перелезть через стену и сам решил бежать, получив от нас обещание доставить его за границу.

Посвященный в план „голубь“ улаживает обо всем с волей и приносит оттуда сообщение, что в назначенное время за оградой будут находиться товарищи, которые по сигналу перебросят нам веревку.

Ночью, когда на пост снова встал наш приятель, мы связали для видимости надзирателя и выпли на двор. При нашем приближении часовой стал отходить к караульному помещению, махая нам в то же время рукой, чтоб мы зашли назад. Думая, что кто нибудь проверяет посты, мы спрятались. Все было тихо. Мы снова выбрались и направились к условленному месту стены, чтобы переброшенным камнем дать сигнал о нашей готовности. Но часовой взял ружье на изготовку и зашипел на нас:

— Уходи, я не согласен.

Было очевидно, что страх взял у него верх над всеми остальными побуждениями.

Не солоно хлебавши пришлось развязать надзирателя и лечь в постели. Нет надобности говорить о том, какие чувства волновали нас после этой неудачи.

Была у меня еще одна попытка, столь же неудачная, как и предыдущая. Я перепилил решетку в своей одиночке, рассчитывая на помощь солдата, с которым завязались у меня дружественные отношения. Но по каким то причинам взвод его в караул не явился.

И уже много позже, после всех этих неудач, мы, вместе с эсерами остановились на мысли взорвать динамитом ограду тюрьмы у той же тюремной больницы. Приготовления затаились. Нас уже перевели из городской тюрьмы, когда в открытую взрывом брешь в стене бежало свыше двадцати наших товарищей по заключению.

Между тем, к концу июня должен был начаться суд над нашей группой. Власти заканчивали свои приготовления. А момент мы считали самым неподходящим. Правительственный террор все усиливался.

Нужно было во что бы то ни стало оттянуть, отложить суд.

Из бесед с нашими защитниками, знакомившимися уже с делом, выяснилось, что дело наше находится в здании военно-морского суда, хранится в простых деревянных шкафах, и без особенной затраты сил и средств может быть похищено.

Исчезновение следственных материалов, рассчитывали мы, поставит суд в необходимость наново производить следствие, собирать и размножать материалы, разыскивать тех свидетелей, которые успели уехать (а таких было огромное множество), словом настолько усложнит работу и ослабит энергию следствия, что, помимо нужной нам оттяжки, благоприятно отразится на положении многих подсудимых. Надо принять в расчет, что относительно большинства не имелось множественных свидетельских показаний и участие их в восстании не бросалось в глаза. Чтобы сделать ясной правильность нашего расчета, необходимо иметь в виду, что даже такие суды, как военно-окружные, и в частности севастопольский военно-морской, стремились всякий процесс обставить теми формальными гарантиями, которые предписывались законом. При наличии даже обвинительного акта, но при отсутствии того материала, который подтверждал бы хоть сколько нибудь выводы обвинения, осуждение считалось невозможным.

Товарищи на воле с удовольствием согласились произвести такой оригинальный экзекуции (экспроприацию). Быстро была произведена разведка, подтвердившая наши предварительные сведения. Было выяснено, что кроме дежурного сторожа, никакой дракон не охраняет сокровища.

И вот, в один прекрасный вечер, в конце июня к зданию суда подошел „экспроприатор“, переодетый рассыльным телеграфа, позволил, был впущен, а за ним незаметно вошел другой и третий. „Три вооруженных злоумышленника“, как говорится в правительственном сообщении, легко справились с безоружным сторожем.

— Руки вверх!

Сторож дал себя связать, да еще упросил мягкосердечных экзекуторов легко ранить его, чтобы не возникло подозрения в соучастии.

Огромные томы—общим числом, кажется, двенадцать—были извлечены, уложены на подехавшего извозчика и где то на берегу Черного моря с большим торжеством преданы сожжению.

Утром мы уже знали об этом *auto da fe*. Ликовала не только наша тюрьма. Радость царила во всех местах заключения, где в ожидании суда томились участники восстания. Мы целый день пели, выкинули красные флаги, а вечером устроили иллюминацию.

Были, конечно, и недовольные. Заключение случайно, даже те, относительно которых имелись бесспорные данные об их невиновности, находились до этого времени в заключении. Оправданием их на суде хотели подчеркнуть его нелицеприятность. Понятно, что перспектива просидеть до оправдания еще несколько месяцев им не улыбалась.

Расчеты наши оправдались полностью. Суд постановил сообщить морскому министру о краже и просить указаний относительно дальнейшего слушания дела. В этом своем отношении суд сообщал, что прибывший вместе со сменившим убитого Чухнина адмиралом Скрыдловым, военный судья Вильчевский видит единственный выход в на-

значении нового предварительного следствия. Такого же мнения держится и защита.

И дело было назначено к доследованию.

С видом прибитой собаки явились к нам вторично следователи. От них мы услышали подтверждение того слуха, что один из самых важных томов не подвергся похищению, так как находился у прокурора на дому. Тем не менее следствие двигалось вяло и медленно.

Тюрьма, между тем, населялась новыми людьми. Появились анархисты и максималисты, экспроприаторы, в большинстве все люди без свойственных политическим арестантам традиций, та пена и осадки шедшей на убыль революционной волны, которыми потом в таком огромном количестве наполнились тюрьмы, ссылка и эмиграция.

Приближалась годовщина нашего восстания. Приближался, наконец, и суд.

В конце октября ранним утром мы были выведены из тюрьмы. Под огромным конным и пешим конвоем, по окраинам города, привели нас к бухте, оттуда перевезли на южную сторону и ввели в морские карцера, находящиеся во дворе флотских казарм. Там мы застали других товарищей, отделенных от нас в течение всего этого времени. Здесь сосредоточили главных лиц и руководителей. Вся же масса продолжала находиться в превращенных в тюрьму казармах и в морской тюрьме.

Карцера представляли собой два ряда одиночек, несколько больше обычного размера, обращенных дверями в противоположные стороны. Задняя стена у них, таким образом, была общей. Снаружи карцера были окружены довольно широким корридорм, из которого в них и проникал свет через наполовину решетчатую дверь. Читать можно было стоя у двери или с лампой, так как в камерах даже днем был полумрак.

Здесь мы были заперты на замок, но при хорошем карауле нам разрешалось посещать друг друга. Прогулки были общими.

Скоро начался и суд. Большие споры вызвал у нас вопрос об участии в суде. Наша партийная группа стояла за то, чтобы по примеру участников процесса Петербургского Совета Рабочих Депутатов бойкотировать суд, обратившись к гражданам с декларацией, поясняющей и мотивирующей этот акт протеста.

Многие из непартийных участников движения одобрили это наше решение и хотя среди остальной массы подеудимых раздавались голоса за участие, было решено тактику эту применить.

Большинство, в сущности, стояло на нашей позиции и только условия нашего заключения не дали нам возможности оформить это решение всеобщим голосованием. Меньшинству мы предоставили свободу действий, желая, чтобы случайные, неустойчивые и раскаявшиеся остались в стороне от нашего выступления. Декларацию было поручено написать мне, и она за подписями моей, Конторовича и Ренькина была напечатана во всех революционных газетах.

Суд происходил при закрытых дверях в одном из корпусов флотских казарм. Уже задолго до него властями, во главе которых стоял в качестве командующего флотом и портами Черного моря Скрыдлов, либеральничавший с матросами и заигрывавший с обществом, были приняты экстренные меры охраны. У здания суда были выставлены пулеметы, всюду были усиленные патрули. Начальство знало, что всеобщие симпатии были на нашей стороне, что все еще находящийся в брожении флот с напряжением ожидает исхода процесса, и поэтому готовились ко всяким неожиданностям.

Судьи были подготовлены к нашему выступлению. Когда, после обычных формальностей судебного заседания, я обратился к председателю с просьбой дать мне слово для заявления, среди судей возникло смущение.

— Какого рода заявление? Для чего заявление? Сейчас никаких заявлений делать нельзя. В свое время вы получите слово.

Я настаивал. Меня поддерживали наши защитники.

Наконец, слово мне дается, но с предупреждением, что я буду лишен его, если вздумаю „митинговать“. „Митинговать“ я как раз и собирался.

— Наш суд—начал я—происходит в обстановке осадного режима, среди ужаса смертных казней, при полном бесправии народа...

Председатель прерывает меня.

— Я не позволяю вам говорить об этом. Вам разрешается только говорить по существу предъявленного вам обвинения.

Снова мы препираемся. Из среди подсудимых раздается ропот. Слышны взволнованные и негодующие возгласы.

Я продолжаю, наконец. Едва удается мне произнести несколько слов, в которых я хочу выразить наше отрицательное отношение к этому суду, заклеить его, как суд палачей над жертвами, победителей над побежденными, как комедию и преступление,—председатель снова начинает звонить и лишает меня слова.

Я его не слушаю и продолжаю.

Конвой окружает меня и выводит среди общего шума, возгласов, протестов...

И после моего вывода буря не утихает. Товарищей, заявляющих о солидарности со мной, выводят одного за другим. Защитники прокламируют свою солидарность и тоже покидают зал. Заседание закрывается.

Дальше все пошло своим естественным ходом. На заседания суда ходит ничтожная группа подсудимых, защищаемых казенными защитниками. В зале царит тишь и гладь. Приговор выносится при полном безмолвии и нам сообщается в тюрьме.

Как мы и ожидали, было вынесено немного смертных приговоров—всего пять. И в исполнение они приведены не были: Скрыдлов заменил их при конфирмации бессрочной каторгой.

После объявления приговора, — это было как раз в годовщину восстания 15 ноября 1906 года,—нас сразу же заковали в ножные кандалы и перевели в морскую тюрьму. А через несколько дней наступил и час отъезда.

Начальство конспирировало во всю. О дне и часе отъезда никто не знал, хотя можно было догадываться о том, что происходят приготовления к отправке, уже с полудня этого дня.

Вечером, наконец, нам сообщили о необходимости спешно собираться. Но куда нас повезут, об этом нам сказано не было. Возможно, что кроме старшего конвойного офицера, подполковника Третьякова, присланного в Севастополь со специальной миссией нас конвоировать, никто и не знал об этом.

Начался обыск. Это был первый обыск в бесконечной серии предстоявших нам на нашем долгом каторжном пути.

Унизительная, гнусная и подлая церемония. Вам предлагают раздеться. Снявши верхнее платье, вы думаете, что исполнили приказание. Нет. Надо раздеться до нага. Несколько человек занялись вашими вещами. Каждый шов, каждая пуговица исследуется. Всякое подозрительное место, всякое утолщение шва, особенно воротника

обшлага, наводит подозрительных инквизиторов на мысль, о зашитых кредитках, о пришитых вместо пуговиц золотых, о пилке, которой так легко перепилить кандалы и решетку. В ход пускаются ножи и ножницы. Зашивать, конечно, будете вы сами.

Возле вашего голого тела с таким же усердием профессиональных ищеек „работает“ два человека. Волосы, уши, ноздри... Там не „затырено“ ничего. „Открой рот!“ Внимательные глаза впиваются во все уголки и закоулки: „Язык!“ И под языком ничего нет. Нежная рука гладит вашу бороду, „Подними руки!“ Под мышками, нет ничего. „Наклонись!“ Протесты не помогают, да они и бесполезны, и непонятны. Они и вредны еще. Могут вызвать подозрения и побудить к большей тщательности и бесцеремонности. „Шире ноги!“ И пальцы работают. Но опыт показал, что пальцы орудие несовершенное. И когда в одной из первоклассных тюрем начальство пришло к заключению, что в этом месте арестанты все же проносят деньги, тщательно свернутые и покрытые воценой бумагой, а иногда в металлической трубке, носящей на арестантском жаргоне особое название, пришлось прибегнуть к науке. Лично мне, впрочем, не приходилось подвергаться обследованию с помощью медицинского зеркала. „Подними ногу!“ „Другую!“ В позе подковываемой лошади, опираясь для устойчивости на обыскиваемого, чувствуете вы, как чужая рука проводит вниз и ищет между пальцами. И все таки... Нужда—мать изобретения. Арестант глотает золотые монеты. И я лично был свидетелем того, как один уголовный пронес толстое золотое кольцо, надев его не на палец. Я видел, как после самых тщательных обысков из совершенно неожиданных углублений тела извлекались деньги, пилка, а в одном случае золотые дамские часики.

Вы обысканы. Теперь очередь за кандалами. Садитесь на скамью или на пол. Конвойный выгибает ногу и с силой тянет браслет цепи, чтобы убедиться, нельзя ли его снять. В редких случаях усилия конвойных увенчиваются успехом. Как он ни ломает вам ногу, часть пятки все же служит препятствием. Если ему кажется, что цепь все же можно снять,—а доказать это—значит выслужиться,—он не остановится перед тем, чтобы собственным плевром смочить эту упрямую пятку. Вскрикивать от боли и дергать ногой отнюдь не рекомендуется, чтобы не вызвать озлобления и умышленного усиления попыток стянуть браслет с ноги. Перековывание арестантов при приеме партии вещь очень частая.

Но допустим, что перековывать вас не нужно, кольцо достаточно узкое, настолько узкое, что когда вы оденетесь и подложите под него кальсоны, штаны и портянку, у вас не останется места втиснуть подкандальники *). Конвойный переходит к более детальному осмотру кандалов. Нет ли где в железе трещины, не надпилено ли оно, хорошо ли заклепаны ножные кольца и не подделана ли арестантом заклепка. В науку конвойного входит изучение всех арестантских хитростей и он хорошо знает, что часто тюремные мастера изготовляют заклепки на винтах, которые своим внешним видом ничем не отличаются от настоящих.

Но все в порядке. Обыск кончен. И короткое: „Одевайсь!“—вызывает у вас вздох облегчения.

Вы собираете разбросанные по грязному и заплеванному полу свои вещи, одеваетесь, укладываете в мешок разрешенное. Конечно,

*) Куски кожи на ремнях или шнурах, надеваемые в виде голенища под кандалы, чтобы при ходьбе не натирать браслетом ноги. Большей частью одевались под брюки.

табак и спички у нас отобрали. Опытный арестант знает уже, что открыто „сено“ (табак) и „зайчики“ (спички) не проносятся и найденные при обыске, как и все запрещенное, они в виде приза поступают в пользование того „мосла“ (солдата) или „мента“ (надзирателя), который производил обыск. Но если вы не новичек, то и после самого тщательного обыска, вы по крошке в карманах, в подкладке армяка, в поясе брюк, в шапке, в котлах *) соберете на несколько папирос махорки и в подходящий момент сумеете удовлетворить свою страсть к курению. Несколько спичечных головок тоже у вас сохранилось. Спички, впрочем, вещь второстепенная. Гденибудь у вас пришита стальная пуговица и где-нибудь засунут кусок пережженной тряпки. Надев пуговицу на нитку, вы получаете примитивное орудие для добывания огня, обычное в тюрьмах. Дергая один конец нитки, вы придаете вращательное движение пуговице и бьете ею по кусочку камня, осколку посуды или по надбитому краю чашки. Получаемые искры зажигают импровизированный трут **). Кроме спичек и табаку, у вас отобрано все металлическое и стеклянное.

— Ведь металлическую ложку можно наточить, осколком разбитого стакана или зеркала можно вскрыть себе вены, — объяснил мне как то один разговорчивый конвойный офицер, когда я указал ему на бессмысленность отбирания подобных вещей.

Все это было, впрочем, предусмотрено в специальной инструкции о производстве обысков у пересылаемых арестантов.

При отправке из Севастополя нас обыскивали с достаточной тщательностью, хотя, может быть, и с меньшей изощренностью, чем впоследствии при приемке в других тюрьмах. Но, с другой стороны, и мы ведь не были так искушены в искусстве „затыривания“ запрещенного. Денег у нас было найдено порядочно. И хотя, по закону, часть утаенных денег оставляется все таки в пользовании арестанта, и только часть конфискуется и поступает „на улучшение арестантского котла и мест заключения“, они были поделены между конвойными. Так всегда бывало, и я не знаю случая, когда обратили бы внимание на жалобу ограбленного арестанта.

Конечно, нашли не все. Кое-какие деньги нам удалось все таки утаить, и мы рассчитывали, что они нам пригодятся в долгом странствовании по Сибири. Мы ведь были уверены, что по старому — по бывалому будем „грямя кандалами“ шагать по Владимирке.

Наконец, долгий обыск кончился. Конвойный начальник произнес небольшую речь на тему о заряженных револьверах, о способности их стрелять и т. д. Наиболее „опасные“ из нас были посажены на извозчиков вместе с конвойными, причем каждого извозчика эскортировало несколько кавалеристов. И на всем пути до вокзала при бледном свете фонарей мы видели сильные патрули на углах пустынных улиц.

Нас везли особым поездом, без остановок на станциях, с курьерской скоростью.

Уже после того, как мы миновали Симферополь, подполковник злорадно сообщил нам, что попытка освободить нас удалась.

*) Арестантская обувь, кожаные туфли.

**) В позднейшие годы мне попался номер официального „Тюремного Вестника“, в котором при перечислении экспонатов тюремной выставки наряду с самодельными арестантскими картами, ножами и т. п. была названа „жужжалка“. Опытные администраторы, знатоки тюремного быта, так описывали „жужжалку“, пуговицу на нитке, при дерганьи издаст жужжащий звук, служит для забавы. Хороша „забава“!

— Какая попытка?!

— Полно! Вы ведь прекрасно знаете, что на поезд между Севастополем и Симферополем должны были напасть. Но я принял все меры. Ожидали, что вас повезут завтра.

У страха глаза велики! Никто не хотел нападать на поезд, но что на начальство напала паника—это было для нас очевидно. Самые необычные предосторожности принимались во время пути. У каждого окна нашего отделения вагона стоял солдат с вынутым из кобуры револьвером в руке. А в отделении конвой, отгороженном от нас солидной решеткой, и день и ночь бодрствовало несколько человек.

В Москву мы прибыли ночью. Долго возили нас по круговой дороге. Наконец, поезд остановился, и мы стали ожидать выгрузки.

„Поведут теперь нас в Бутырки, там посадят в пересыльную камеру, а затем пойдет от этапа до этапа“, — думали мы. И в этих мыслях поддерживал нас и конвой.

— Мы до Москвы вас везем.

Но оказалось совсем иное. После многочасового стояния поезд вдруг опять тронулся.

— Уж не прямым ли сообщением в Сибирь?

Но конвой молчал.

В Смоленске нас как громом поразило:

— Выходи! Приехали!

III.

Смоленская каторга.

История ее возникновения. Наше прибытие. Белье и одежда. Поверка. Саморасковывание. Состав заключенных. Подпоручик Жадановский. Условия содержания и режим. Наши требования. Споры о форме протеста. „Голый бунт“. Зачинщиков увозят в Шлиссельбург. Дорога. „Кресты“.

Только на месте мы узнали о том, что бывшие арестантские роты в Смоленске переименованы в каторжную тюрьму. Это была первая каторжная тюрьма в Европейской России, первый „Централ“ после упразднения в 80-х годах Харьковских централов.

До этого времени каторжные отбывали наказание исключительно в Сибири и на Сахалине. Исключением являлась лишь Шлиссельбургская крепость, в которую были заключены наиболее важные политические преступники, приговоренные, за редкими исключениями, к каторжным работам.

Революция 1905—1906 г.г., вызвав огромное количество т. н. политических преступлений, поставила перед Главным Тюремным Управлением вопрос о том, где и как разместить тех политических каторжан, которые многими сотнями стали накапливаться в тюрьмах обычного типа. Сибирские тюрьмы к этому времени оказались переполненными до крайности. И кроме того, продолжению отправки политических в Сибирь препятствовали и соображения иного рода.

В тамошних тюрьмах, отчасти на основании закона, но главным образом по традиции, установился совершенно своеобразный порядок отбывания каторжными своих сроков. В тюрьмах, за замками и решетками, находилась лишь небольшая часть каторжных, остальные по отбытии т. н. *испытываемого и исправляющегося сроков* *), а часто и

*) „Испытуемые“ должны были носить ножные кандалы, а бессрочные „испытываемые“ сверх того и ручные. Для бессрочных пребывание в этом разряде продолжалось 8 лет, по истечении которых, если арестант отличался хорошим поведением и проявлял признаки исправления, он переводился в „исправ-“

раньше, переходили в „вольную команду“, где пребывали до отбытия всего срока, живя в казармах или на вольных квартирах, получая паек, исполняя наряды на работы и т. д. Обычно, благодаря разным скидкам и сокращениям, задолго еще до отбытия полностью приговора, каторжный переходил в ссыльно-поселенцы, т. е. освобождался от тюремной опеки и должен был приписаться к какому нибудь крестьянскому обществу.

Этот—относительно мягкий—промежуток отбывания наказания считался совершенно нормальным, пока он касался преимущественно уголовных. Но когда нужно было применить его к огромной массе политических, возникали сомнения. Не говоря уже о том, что сибирские тюрьмы, за малыми исключениями, не были тюрьмами крепкими, из которых побег был бы исключительно редким явлением, попадавшие в „вольную команду“ политические будут массами совершать побеги.

Кроме того, в далекой Сибири глаз центральной администрации, при всех усилиях, неизбежно будет слабым, и тот „вольный“ режим в тюрьмах, которым славилась Сибирь, не так легко можно будет уничтожить.

И нужно еще принять во внимание, что в течении всего последовавшего за 1905 годом периода реакции, правительство в своей тюремной политике преследовало по отношению к побежденному врагу единственную задачу: беспощадно мстить, превращая тюрьмы в дома пыток и смерти.

Решительным проводником этой политики явился начальник Главного Тюремного Управления Максимович. И одним из первых мероприятий на этом пути явилось решение—создать каторжные тюрьмы в Европейской России, отменив таким образом, если не юридически, то фактически, вольные команды и вводя в этих тюрьмах „каторжный“ режим в полном смысле слова.

Первым таким каторжным центром стала Смоленская тюрьма, куда для руководства этим опытом Главное Тюремное Управление командировало особого тюремного инспектора Краинского.

Мы были одними из первых гостей в этой тюрьме. И на нас должен был производиться этот первый опыт.

Уже в темноте вечера, уставши от непривычных кандалов и довольно длинного пути от вокзала к тюрьме, вошли мы в свое новое жилище. Первое впечатление было: парашечная вонь и грязь.

Встретившее нас начальство всем своим видом и поведением показывало, что оно еще не привычно в обращении с такой „публикой“. Старались поскорее нас принять и не лезть на столкновения.

У нас же настроение было обратное, боевое. Уже ввалившись огромной, беспорядочной гурьбой в тюрьму, мы подняли страшный шум: кто пел революционные песни, кто просто „драл глотку“, чтобы показать, что мы, мол, матросы, никого и ничего не боимся. А когда надзиратели пробовали уговорить нас вести себя тише, в дело пошли угрозы.

Знай с кем дело имеешь, тюремная крыса. Мы всю вапу тюрьму разнесем.

ляющиеся“. Срок испытуемости при дурном поведении мог удлиниться. Удлиняться, впрочем, мог и весь срок каторжных работ без всякого судебного приговора на один или два года постановлением высшей тюремной администрации. Испытуемый, или, в просторечии, „кандалный“ срок находился в зависимости от общего срока каторжных работ. Так, осужденные на 20-ти летнюю каторгу ходили в кандалах только 5 лет и т. д. Исправляющимися бессрочные должны были пробыть не менее 3-х лет, также в зависимости от поведения.

Нас загнали в несколько пустых камер и оттуда по одному стали вызывать с вещами для обыска.

До сих пор мы носили собственное белье, нижнее и теплое. Казенное бережно хранилось в мешках. При обыске все у нас отобрали. Отобрали также и те казенные вещи: армяки, полушубки, коты и пр., в которых мы прибыли, снабдив нас взамен грязными и заносенными предметами обмундирования. Особенно ужасно было белье. Старая, покрытая заплатами дерюжина, плохо промытая, с подозрительными пятнами, издающая какой-то гнусный запах. Пошито оно было на подростков, так как, мимоходом будь сказано, в редких тюрьмах администрация настолько добросовестна, что соблюдает установленный размер постройки арестантского белья и одежды. У наиболее рослых из нас нижний край рубашки не сходил с поясом кальсон, а рукава не прикрывали локтей. Портянки были все в дырах и нужно было быть большим мастером этого дела, чтобы ухитриться обернуть ими хотя бы стопу.

Если бы мы подверглись этому обыску кучей, или если бы не обысканные еще знали, находясь вместе в камере, во что нас одевают, дело не обошлось бы так гладко. Но взятые по одиночке мы были бессильны и вынуждены были подчиняться. Не обошлось без мелких стычек, конечно, но в общем, когда мы вновь собрались в отведенных нам камерах и стали делиться впечатлениями, оказалось, что сплеховали почти все.

Кое-кто предлагал начать действовать сейчас же, вызвать начальника и требовать, чтобы нам вернули собственное белье. Но благоразумное большинство решило подождать, осмотреться, познакомиться с населением тюрьмы и тогда уже „затянуть волну“.

Глаза слипались от усталости. Кое-как неумело натянули мы на рамы коек выданный каждому на руки брезент и улеглись.

Прошла первая ночь в каторжной тюрьме. Нас кусали изголодавшиеся клопы. Парашка, огромный сосуд без крышки, обдавала нас своим зловонием. Потертые от времени казенные одеяла не спасали нас от холода. Они были узкие и короткие и тело, соприкасавшееся, несмотря на все усилия обернуться, с брезентом, ломило и ныло. Затекала шея от спанья на непривычных соломенных подушках, плоских, как блины, и твердых.

Было еще совсем темно, когда нас разбудил грубый окрик:

— Встать на поверку!

В отворенную дверь вошли тюремщики с дежурным помощником во главе. Мы продолжали лежать, ожидая, что будет дальше.

Последовал короткий, но энергичный разговор. Нам было сообщено, что по свистку, утром и вечером, мы обязаны построиться в два ряда, в затылок и стоять так, пока нас не пересчитают. Мы в свою очередь, из под одеял, осведомили, что мы не солдаты и строиться в затылок не будем. А сосчитать, мол, если это так нужно, великолепно нас можно и в лежачем положении.

Негодующе бурча что-то себе под нос, помощник сосчитал наши лежащие тела и удалился. Его отступление мы приветствовали спешкой во все горло марсельезой.

Одевшись и подняв к стене койки, мы принялись бегать, прыгать, возиться, чтобы согреть заколенившее тело. Кандалы издавали бешеный лязг и—надо сознаться в мальчишестве!—это нам нравилось. Такая же музыка исходила из других камер нашего этажа и слышалась снизу. Отовсюду долетали громкие крики, веселый молодой смех и отрывки революционных песен. Создавалось особенное

боевое настроение, хотелось еще больше показать, что нас не утомили, что нам наплевать на все. И скоро это настроение вылилось в новую форму.

У многих явилась мысль: почему бы нам не снять кандалов? Рассказывают ведь, что в Сибири каторжные одевают их, как начальство свои мундиры и ордена, лишь в торжественных случаях: приезд губернатора, прокурора и т. д. В обычное же время кандалы ржавеют себе в сумке или в изголовьи нары.

Сказано—сделано. Массивными скамьями, притащенными откуда то поленьями, дверью отхожего места сплющивались в овальную форму толстые ножные кольца и затем стягивались через пятку. У обладателей ног с высоким подъемом кандалы легко не снимались. Приходилось смазывать пятку жиром. У некоторых от слишком усердного снятия и надевания появились ссадины. Большинство, впрочем, не держало свои кандалы все время под подушками, особенно после того, как надзиратели, заметив наши проделки, стали докладывать по начальству, и вышел приказ перековать в более узкие кандалы тех, у кого они сходили с ног. Неопытные в этом деле „дядьки“ (так называют надзирателей в большинстве арестантских отделений) с трудом могли определить степень снимаемости кандалов, и особенного ущерба нам этот приказ не нанес. Но остерегаться все таки приходилось и кандалы снимались обычно на ночь. Это было большим облегчением, так как холодное железо на голых ногах многим мешало спать, вызывая ломоту. Были однако и „герои“, у которых, благодаря особому строению ноги, даже очень узкие кольца после небольшого сплющивания, легко снимались. Они бравовали этим обстоятельством и демонстративно выкидывали только что надетые новые кандалы на коридор, мотивируя тем, что они, мол, „жгут очень“.

Если отвлечься от некоторых неудобств, кандалы доставляли нам, в эти первые дни нашей каторги, много удовольствия. Начать с того, что каждые кандалы издавали свой особый звон. Доходило даже до завистливого чувства по отношению к тем счастливым, чьи цепи звучали чисто и звонко, были запевалами в этом кандалном хоре.

С чувством особенного подъема пели мы старинную песню польских революционеров: *De mizura stań wesola, buntowicza wiaro...* с кандалным акомпаниментом. Не все понимали слова, записанные на бумажках русскими буквами. Но звон цепей в темпе мазурки заменял смысл, поднимая настроение, воодушевляя...

В камерах мы были размещены по разрядам. К первому ряду, кроме бессрочных, были отнесены и двадцатилетние, ко второму срочные до 15 лет, и в третьем находились все малосрочные. Это подразделение в прежнее время в Сибири, может быть, и имело смысл. Но в российских централах оно скоро вышло из употребления. Обычно, рассказывая каторжных по общим камерам, начальство в первую очередь выделяло бессрочных, не смешивая их со срочными, срочных же чаще всего группировали в зависимости от нахождения их в числе испытываемых или исправляющихся.

Население той камеры, в которой мне пришлось сидеть, в первые дни состояло почти исключительно из севастопольцев, но затем к нам начали подбавлять и новую публику. У нас оказались и представители Польши, и кронштадтцы, и киевские саперы. Появились и герои эсеров и мелкого террора, именовавшие себя то анархистами, то максималистами. Очутился среди нас и один уголовный (в это

время уголовные в общей массе политиков совершенно терялись), но он скоро почувствовал себя у нас не ко двору и перепросился куда то в другую камеру.

Первые дни проходили во взаимных знакомствах, в обсуждении нашего отношения к администрации, в дебатах о том, какие формы борьбы должны мы избрать, чтобы добиться удовлетворения тех требований, которые мы с первого же дня стали предъявлять администрации. В эти дни выдвинулись и „вожаки“, лица, выступавшие от имени заключенных перед тюремщиками, наметилось и то ядро, которое, приняв наименование „бюро“, через несколько дней руководило общим протестом.

В этих переговорах и обсуждениях впервые мне пришлось столкнуться с подпоручиком Борисом Жадановским, одним из тех немногих людей, которые в течение долгих лет, от начала нашей каторги и до ее конца, все время оставались выпрямленными, с огнем протеста в глазах, вечно готовыми к борьбе в защиту чести и достоинства революционера.

Будучи связан идейно с социал-демократической организацией, он встал во главе восставшей саперной роты в Киеве в конце ноября 1905 года.

В другие времена, может быть, он прошел бы мимо революционного движения, найдя в военной службе, к которой был подготовлен и средой, и воспитанием в кадетском корпусе и в инженерном училище, цель и содержание жизни. Но бурный год вовлек его в свой мощный поток и оплодотворил заложенные в нем начала бойца.

Командуя восставшими саперами, он вышел на улицу, и, когда встреченные правительственными войсками саперы рассеялись, он один остался стоять перед врагом.

Впоследствии, сидя в Косом канонире киевской крепости, он встретился с офицером, командовавшим усмирителями, и этот достойный слуга самодержавия, вещомыная свои подвиги, рассказывал, как, видя перед собой маленькую одинокую фигуру в офицерской форме, он недогнущим голосом скомандовал:

— Рота, по офицеру...

Из всей сотни рук только одна пара не дрогнула. Только одна пуля попала в грудь Жадановского, пронизав легкое. Считая его убитым, палачи прошли дальше. Друзья подобрали его и скрывали в течение нескольких месяцев. Медленно заживавшая рана не позволила своевременно вывезти его из Киева. Он был арестован и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.

В декабре 1906 года он был доставлен в Смоленск.

Но дорога не обошлась без приключений. На пути, где-то в Курской губернии, когда конвой, полагаясь на решетки окон и кандалы, заснул, Жадановский отвинтил фальшивые заклепки кандалов, перепилил решетку и на всем ходу выбросился из окна. Падение не было особенно удачным. Правда, руки и ноги остались целыми, но ушибся он сильно, а лицо оказалось покрытым ссадинами. Шапку он потерял, а офицерское пальто, находившееся в его вещах и одетое перед побегом, испачкалось и изорвалось. В таком виде вышел он ночью в крестьянскую избу какого то ближайшего села. Маленькая, почти детского, фигурка и рассказ о том, кто он, и что он, не внушили крестьянину охваченной аграрным движением губернии, ничего, кроме желания предать и получить от начальства рубль на водку. Он гостеприимно накормил и напоил беглеца, уложил его спать, а сам побежал за стражниками.

Кроме оставшихся на лице шрамов, других последствий побег не имел. Года два велось следствие, но суд почему то не состоялся.

Меня всегда поражала в Борисе Петровиче его твердость и стойкость в раз принятых решениях. Волевой момент в его психике преобладал. В щуплом, маленьком и недоразвившемся теле жила огромная стальная душа. Он не был способен кривить душой и политиканствовать ни с товарищами по каторге, ни с начальством. На его аскетическом лице, подвижном и выразительном, приязнь и неприязнь выражались ясно и резко. И редко кто пользовался у нас такой общей, почти без исключений, любовью и таким бережно-внимательным отношением, как он.

Начальство его ненавидело. Но в то же время оно испытывало по отношению к нему и чувство удивления, доходившее порой до восхищения. Особенно сильно это проявлялось у надзирателей, грубый язык которых никогда не поворачивался сказать ему обычное „ты“ даже в те времена, когда иначе как на „ты“ им было формально запрещено говорить с каторжными.

Вспоминается, как в один из мрачных периодов нашей шлиссельбургской жизни грубая и злая скотина, помощник Талалаев, набросился на Жадановского, вечного застрельщика во всех протестах.

— Так ты не хочешь подчиняться! Да я тебя одной рукой, мозгляк, раздавлю.—И негодяй поднял огромную действительно руку над маленькой беззащитной фигурой.

— Нашел чем хвастаться, дурак,—своим жиром,—холодно отпарировал Борис Петрович, презрительно искривив губы и глядя снизу вверх прямо в глаза дураку.

И перед этим презрением и этим безстрашием поднятая рука бессильно опустилась.

После долгого карцера он не смирялся даже на короткий момент. Не зная, что с ним делать, начальство шлет доклад о его неисправимости в Главное Тюремное Управление. Оттуда приходит приказ: наказать Жадановского 100 ударами розг. Но тюремный врач—и как раз в то время был у нас один из самых скверных врачей!—категорически заявляет, что применение к Жадановскому розг равносильно убийству. И экзекуция заменяется другим видом убийства—30-ти суточным темным карцером.

Человек с одним только действующим легким, и к тому же слабым легким, с острым малокровием, человек, о каких обычно говорят: в чем только душа держится,—Жадановский, благодаря своей сильной душе, вышел из раскрытой революцией тюрьмы таким же стойким революционером, каким вошел в нее. Тюрьма, холодная мертвая тюрьма выпустила свою жертву.

Но революция, с мыслью о которой он жил в тюрьме, сожгла его в своих раскаленных объятиях...

В дальнейшем рассказе мне не раз придется упоминать это имя. А пока возвращаюсь к назревавшему у нас, в смоленской каторге, протесту.

В сущности, на условия содержания и на режим жаловаться особенно не приходилось. Впоследствии жилали мы и при худших условиях. Правда, пища была отвратительной. „Баланда“—жидкий суп, в котором крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой, такие же жидкие, скверно пахнущие щи из кислой капусты, горох, тоже жид-

кий-прежидкий, все это без мяса и без жиров. Хлеб выдавался сырой и тяжелый. Но нам разрешалось почти неограниченно покупать на свои деньги продукты и, благодаря тому, что мы жили „коммуной“, голодать нам не приходилось. Из-за пицци поэтому мы не „волынили“.

Не было также никакого каторжного „прижима“. Нами нарушались самые элементарные тюремные правила без всяких репрессий со стороны администрации. Нас только уговаривали не петь революционные песни, становиться на поверку и т. д.

Вызывая наиболее влиятельных каторжан в контору, начальник тюрьмы и инспектор чуть не плакали.

— Подумайте,—говорили они.—Ведь это же не тюрьма. Это какая то гостинница. Каждый делает, что он хочет. Надзирателям грубят, при входе начальства в камеру не встают, валяются на койках. Кандалы снимают. Ну, пусть бы хоть на ночь только. А то ведь днем разгуливают по коридорам и на прогулке без кандалов. А пение революционных песен! А из одной камеры выбросили икону! Ну, пусть молитв не поют, пусть не молятся. Но ведь так полагается.

И затем, бия себя в грудь, бравый начальник запевал другую песню:

Ведь с меня требуют! Ведь за мною контроль! Меня отдадут под суд за то, что я распустил тюрьму. Я обязан вас наказывать. Я имею право сажать вас в карцер. Вы—лишенные прав. Смотрите! Читайте! „До ста ударов розгами“.

Мы презрительно отталкивали совавшуюся нам под нос инструкцию.

— Попробуйте!

И в свою очередь переходили в наступление. Наши требования представляли собой такой огромный перечень, что скоро начальство не выдерживало и, прерывая перечисление, начинало осаживать. Тут были и посулы все устроить в скором времени, и ссылки на то, что, мол, это зависит от Тюремного Управления, куда уже сообщены наши требования, и даже подкупы. Так, в один прекрасный день, без всякой просьбы с нашей стороны, были раскованы Жадановский, Конторович, я и еще некоторые другие, которых начальство имело основание считать „закоперщиками“ всей волянки. Мы же требовали, чтобы вообще кандалы были сняты.

Но самым больным, самым насущным вопросом у нас был вопрос о белье и одежде. Я говорил уже о том, какое белье пришлось нам одеть в вечер приезда. Одежда тоже была не лучше. Грязная, заношенная, скроенная на подростков, а не взрослых людей. Она издавала специфический запах грязного тела и тюремного цейхгауза. Мы требовали права носить свое белье и ходить в своей одежде. В своей притязательности мы дошли до того, что, когда однажды, раздраженный разговором с нами, инспектор Краинский сказал:

— Вы еще в цилиндрах захотите ходить!—Филя Калашников, задрав кверху курносую физиономию, ответил ему:

— Я желаю ходить не в цилиндре, а в котелке.

Понятно, что вопрос о собственном белье и одежде начальство совершенно исключало из всех наших переговоров.

Мы соглашались на некоторый компромисс:

— Если вы принципиально против собственности, мы согласны на то, чтобы белье было казенным, но оно должно быть пошито из

более мягкого белого холста. Одежда должна быть новой и сшита на разные росты.

Разговоры скоро утомили нас. Со всех сторон слышались голоса:

— Пора начать действовать!

Возник вопрос о форме борьбы. Предлагалась пассивная голодовка. Огромное большинство было против нее: слишком сильное средство, если к ней отнестись серьезно, дискредитировать же эту меру борьбы легким отношением не годится. Предлагался и активный бунт: битье дверей и окон, неподчинение. Но даже предлагавшие эту меру оговаривались, что, пожалуй, игра не стоит свеч: введут военную силу, часть из нас перестреляют, избыют, развезут по разным тюрьмам.

Не помню уж, кто напал на мысль о „голом бунте“. Но эту идею все встретили с энтузиазмом. Начинали вдаваться в подробности проведения, воображение рисовало необычные картины. Стены тюрьмы сотрясались от молодого хохота.

Камеры—инициаторы не стали даже ждать формального согласия остальных камер.

Когда утром у нас отворилась дверь на поверку, входившее начальство в удивлении и ужасе отшатнулось. В камере перед дверью лежала огромная куча белья и одежды. В полумраке зимнего утра среди клубов табачного дыма и испарений двигались фантастические фигуры: кто был совсем голым, кто задрапировался в коечный брезент, кто на подобие мумии забинтовался в узкое одеяло... У некоторых чресла были препоясаны, но многие безстыдно выставляли на показ свою срамоту.

— Что это? Что с вами? Что случилось?—в испуге из коридора крикнул дежурный помощник. Стоявшие за ним надзиратели еле удерживались от хохота.

Коротко и ясно мы объяснили.

— Но я же должен вас пересчитать. Когда вы в таком виде, я не могу войти в камеру. Это неприлично.

Громовой хохот, свист и возгласы встретили его слова.

— Пересчитай, это б...ское белье, если голых х...в боишься!—отшил ему кто-то. И хотел уже продолжать в том же духе морской словесности, но товарищи зажали ему рот.

Помощник ретировался. Сильными ударами ног белье тоже было выжито из камеры.

Старшие надзирателя, не смущавшиеся голых тел, повели с нами премилинарные переговоры.

— Мы вам дадим чистое белье, выстиранное. Нового у нас нет.

— Мы вас пустим в цейхгауз. Выбирайте себе одежду.

— Не согласны!—был единодушный ответ.

— Мы прекратим отопление. Вы простудитесь, замерзнете.

— Попробуй, так тебя и так. Мы все столы и лавки пожжем. Всю тюрьму спалим. Чтоб топилося во всю.

Угроза подействовала. К батареям парового отопления близко подойти нельзя было ни днем, ни ночью, так они топили эти дни.

За надзирателями, поборов свою стыдливость, появились помощники.

— Ведь это же непорядок, господа. Это нарушение всякой дисциплины. Мы примем меры.

Помощник попал в точку. Мы и стремились именно к тому, чтобы таким пассивным, законным, так сказать, нарушением всякого

порядка и всего строя тюремных отношений поставить начальство в положение безвыходности. Конечно, с тюремщицкой точки зрения, такое состояние долго продолжаться не могло. Голый бунт потому и оказался таким сильным орудием, что он вырывал у начальства всякий повод, всякий предлог для применения физической репрессии. Насильно белья не наденешь, а наденешь, так снова снять его не трудно.

Чтобы не дать в руки начальства повода к какойнибудь придирке, мы уступили ему в целом ряде его требований. В частности, мы с большим удовольствием строились „во фронт“, когда оно приходило к нам разговаривать.

А „оно“ приходило.

За помощниками явилась к нам и представительная фигура начальника с тщательно расчесанной пышной бородой, в новом с иголки мундире, издающем запах сильных духов.

— Я вас не понимаю, господа. Ведь вам было обещано удовлетворение всех ваших требований... т. е. пожеланий, так как требовать вы, как лишенные прав, не можете. Да, да, да... Я знаю: вы лишены имущественных и сословных прав, а не человеческих. Не беспокойтесь: я сам юрист и культурный человек... Я понимаю, что минимальные требования культурного существования вам должны быть гарантированы. Но... в пределах разрешаемого тюремной инструкцией. И к удовлетворению ваших законных требований все меры мною принимаются. Однако, пойдите и вы мне навстречу и оставьте эту свою смешную и, простите, дикую затею...

Но все его красноречие разбивалось о наш ответ.

— Нам органически противно носить это белье. Мы сразу одеваемся, как только нам дадут белье хорошее. Дайте нам собственное белье, если у вас нет казенного.

Мы ссылались на Сибирь, где каторжанам разрешается носить свое белье и одежду, сшитую по казенным образцам, на Европу, где о таком белье не имеют представления.

Инспектор Краинский, сменивший начальника, долго ораторствовал перед нашим голым строем. Он по институтски, глядел в пол или переводил глаза на потолок. Но все таки он заметил, что тела наши почернели от пыли и грязи.

— Это ведь вредно. Вы губите себя. А между тем вы молоды, впереди у вас целая жизнь. Я убежден, что вам не придется долго сидеть: времена меняются. История столько знает примеров...

На глазах у него появляются слезы, голос прерывается. Он растроган. Однако не растроганы мы.

Кто-то вынимает из угла специально на этот случай припрятанную рубашу. Она имеет шоколадно-серый цвет. Она покрыта пятнами, топорщится, точно накрахмаленная, и обонятельное ее действие—отталкивающее.

— А вот рубаша,—говорит он.—Я не носил ее. Разве это здоровше, чем голым быть?!—И он сует рубашу в руки инспектору.

Тот прячет руки за спину, делает шаг назад, а на лице его написано отвращение.

— Это, это...—пытается он что то сказать стоящему за ним начальнику, но не находит слов.

Арестант, со свойственной голым людям прямоотой и точностью выражения, приходит ему на помощь.

— Это—вот тут, за...но, а тут, малафейка...—и заметив, что его высокородие не понимает, поясняет:

— Зас...но...

Аргумент на столько был *ad hominem*, что инспектор, потеряв всякое присутствие духа, ретируется.

Несколько дней мы выдерживали характер, ведя себя чинно и мирно. Но потом нас прорвало.

Встречу нового—1907 года мы ознаменовали демонстрацией. Красные флаги были вывешены из окон, на решетках дверей. Мы наловили голубей и привязав к их лапкам красную бумагу, ленты, просто записки, выпустили их на волю. Тюрьма стонала от пения и встречаемое при всяком появлении марсельезой начальство постыдно удирало. В след ему неслись крики:

— Долой палачей! Смерть тюремщикам!

Через несколько дней начальство решило принять свои меры. Как всегда эти меры были примитивны: изъять зачинщиков, „взять на испуг“ массу и принудить ее принять условия врага.

В первых числах января, под вечер, нам сообщают о том, что несколько человек по распоряжению Главного Тюремного Управления переводятся в другую тюрьму. В какую тюрьму? Ничего не известно. Кого именно? Вам сообщат.

После короткого обсуждения решено было ехать. Поэтому, когда нас по одному стали вызывать в контору, мы без всяких разговоров собирали вещи, накидывали на себя сохранявшееся для всяких выходов верхнее платье и попрощавшись с товарищами, выходили в контору.

Вывозились в качестве зачинщиков семь человек. Это были: Конторович, Генькин, Жадановский, Циома, Киршенштейн, осужденный по нашему делу солдат брестского полка, одесский анархист Гершкович и я.

В конторе нас тщательно обыскали, заковали в новенькие кандалы. Начальник тюрьмы и инспектор Краинский, присутствовавшие при отправке, с заметной иронией пожелали нам, чтобы в новой тюрьме нам жились не хуже, чем под их крылышком.

И мы отправились под весьма основательным конвоем в путь.

В газетах уже промелькнуло как то сообщение о том, что находившаяся раньше в ведении департамента полиции Шлиссельбургская крепость передается в тюремное ведомство. С нашей стороны, поэтому, вполне естественна была догадка о том, что нас везут в Шлиссельбург. Конвой молчал. Но на вокзале проходивший мимо нас тюремный священник, сочувствовавший нам и вышедший, очевидно, нас провожать, шепнул нам:

— Кажется, вас отправляют в Шлиссельбургскую крепость.

В темноте мы не могли определить, куда идет поезд. И только утром направление выяснилось: к Петербургу. Сомнения исчезли. Нам стало ясным, что старая Бастилия возрождается и ждет к себе нас.

На вокзале в Петербурге к нашему приезду уже была приготовлена встреча: казаки, кареты-автомобили.

Мы переночевали в подвальном этаже „Крестов“, в светлых карцерах.

Утром меня посетил помощник начальника Святославский, с которым у меня, в бытность его начальником Севастопольской тюрьмы, были хорошие отношения. Как-то пугливо, озираясь, точно боясь произнести самое имя страшной крепости, сказал он, что нас пере-

водят в Шлиссельбург, но „это—секрет“. Я, конечно, обещал ему хранить свято эту великую тайну.

Наши кандалы еще раз осмотрели. Мои показались черезчур уж вольными, хотя все попытки стянуть их с ног оказались тщетными. Тем не менее был приглашен кузнец, который долго совещался с начальством, какие кандалы будут подходящими из немалого ассортимента принесенных им с собой. Выбрали они кандалы старого типа, восьми-фунтовые, с массивными браслетами. Долго длилась церемония расковки и заковки.

Когда раздались первые удары молота по зубилу, кто-то заступал в дверь одного из карцеров и чей то хриплый голос крикнул:

— Кого заковывают? Товарищ, кто вы?

Несмотря на запрещения присутствовавшей своры, мне удалось сказать неизвестному заключенному, кто мы, откуда и куда нас везут.

Мне удалось узнать впоследствии, что неведомый собрат ухитрился передать мое сообщение дальше и, благодаря ему, на тех же днях в газетах появилось сообщение о нашем приезде.

Нам выдали по двух-фунтовой пайке хлеба и по куску вареного мяса.

Тем же порядком и с теми же церемониями, что и при приезде, доставлены были мы на вокзал Ириновской узкоколейной жел. дороги и скоро пронзительный свисток „кукушки“ возвестил, что начинается наш последний этап.

И. Вороницын.